



Эберс Г.

АРАХНЕЯ

**ЕГИПЕТСКИЕ
НОЧИ**

Египетские ночи

Георг Эберс

Арахнея

«Алгоритм»

1897

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гер)

Эберс Г. М.

Арахнея / Г. М. Эберс — «Алгоритм», 1897 — (Египетские ночи)

ISBN 978-5-486-03900-3

Георг Мориц Эберс (1837—1898) — немецкий писатель и историк. Первоначально занимался юриспруденцией, а затем во время болезни, надолго приковавшей его к постели, стал изучать древние языки и археологию и посвятил себя востоковедению. Эберс несколько раз побывал в Египте и написал ряд научных работ по древней истории этой страны. Известность же ему как писателю принесли исторические романы из жизни древнего и греко-римского Египта и средневековой Германии. В произведениях Эберса сочетаются научно обоснованное воспроизведение изображаемой эпохи и увлекательная фабула. Публикуемый в этом томе роман «Арахнея» повествует о трагических перипетиях жизни незаурядного александрийского ваятеля Гермона, отстаивающего свое право на осмысление и творческое воплощение как окружающей действительности, так и традиционных мифических образов — богини Деметры и ткачихи Арахнеи. Гермон задумывает изваять легендарную Арахнею в образе обыкновенной смертной и в качестве модели выбирает египтянку Ледшу. Но гордую девушку оскорбил замысел избранника выставить ее на всеобщее осмеяние в виде несчастной поруганной жертвы. Тем более что в образе прекрасной Деметры Гермон воплотил черты александрийки Дафны... Вспыхнувшая ревность превратила любящую девушку в карающее орудие неумолимой Немезиды.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гер)

ISBN 978-5-486-03900-3

© Эберс Г. М., 1897

© Алгоритм, 1897

Содержание

I	7
II	10
III	14
IV	19
V	26
VI	32
VII	37
VIII	42
IX	47
X	52
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Георг Мориц Эберс

Арахнея

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

I

Глубокая тишина царила над водой и на зеленых островах, которые, подобно оазисам, подымались из сверкающих вод. На самом большом из этих островов пальмы, серебристые тополя и сикоморы бросали уже удлиняющиеся тени, тогда как косые лучи солнца золотили их темные вершины и освещали тростниковые заросли у самого берега. Вереницы больших и малых птиц проносились высоко под сводом темно-лазоревого неба; изредка пеликан или пара диких уток с коротким отрывистым криком опускались на сочную зелень зарослей, но звуки эти как бы сливались с природой и тотчас же пропадали в вышине или в чаще кустов. Немногие из прилетавших птиц достигали городка Тенниса, окруженного со всех сторон водами разлившегося Нила в 274 году до Р. Х. Казалось, будто сон или какое-то оцепенение сковало уличную жизнь жителей этого городка; на улицах почти не видно было людей, а немногочисленная кучка носильщиков и матросов, работающая на кораблях и лодках, исполняла свою работу тихо, без слов, изможденная жарой и тяжелым трудом. Даже дым, поднимающийся над некоторыми зданиями, и тот, казалось, нуждался в отдыхе и лениво, медленно стлался над плоскими крышами. На маленьком островке, лежащем наискось от гавани, господствовала та же тишина. Тенниты называли его «Совиным гнездом», и ни они, ни правительственные чиновники второго царя из династии Птолемеев не посещали его без уважительных на то причин. Чиновникам даже не позволялось вмешиваться в дела обитателей острова, принадлежавшего уже несколько сотен лет семье корабельщиков. Хотя и подозревавшаяся в пиратстве, семья эта, однако, со времен Александра Великого пользовалась правом свободного убежища, дарованным представителю этой семьи великим мировым завоевателем за своевременную оказанную ему помощь маленькой флотилией судов владельца острова при осаде Газы. Еще в царствование первого Птолемея решено было отнять у владельцев острова эту привилегию за неоднократные морские разбои, но решение это не приводилось в исполнение. И только в последние два года началось опять расследование поступков главы семьи – Сатабуса; с тех пор он, его сыновья и его корабли избегали Тенниса и египетского побережья. На самом берегу «Совиного гнезда», как раз напротив городка, стояло жилище обитателей острова. Оно было когда-то солидным и внушительным зданием, но теперь казалось предназначенным к разрушению, за исключением средней части, лучше сохранившейся, нежели боковые, походившие на развалины. Первоначально крыша над всем длинным зданием состояла из пальмовых веток, покрытых илом и дерном; теперь уцелела она только над средней частью; с боковых же дождь, довольно частый на северо-востоке нильской дельты, давно уже смыл ил и землю, а ветер развеял их, как пыль.

Когда-то здание было настолько обширно, что вмещало всех многочисленных членов семьи и большой запас всякого добра и товаров; теперь же разрушающиеся помещения были давно необитаемы. Только из отверстия в крыше над серединой здания подымалась тонкая струя дыма, указывавшая на весьма скромный огонь. Для чего он был разведен, об этом можно было узнать тотчас же: перед раскрытой дверью сидела старуха и щипала трех уток. Невдалеке, по-видимому не обращая на нее никакого внимания, стояла молодая девушка, прислонившись к стволу низкого, ветвистого сикомора. Она приехала сюда в узком челноке, спрятанном теперь в тростниках. Лишившись рано матери, эта красивая молодая девушка часто приезжала к старой Табус за советами, за гаданием и, в случае надобности, помочь старухе по хозяйству, потому что эта старая обительница острова была очень близка Ледше, дочери известного корабельного владельца в Теннисе, а когда-то была еще ближе. Теперь молодая девушка молча предавалась мечтам, то полным сладостных воспоминаний, то пугливых опасений и страстных ожиданий. Прохладный ветерок, вдруг поднявшийся над водой, как бы пробудил ее; она отложила в сторону клубок и иглу, которой чинила

сеть, и подошла к берегу. Ее взгляд переносился с белого большого дома в северной части города на гавань и на многочисленные суда, приближающиеся к пристани, среди которых ее острый глаз различил прекрасный корабль с пестрым парусом. Глубоко вдыхала она прохладу, предвестницу солнечного заката.

На всей окружающей природе начало отражаться приближение ночи. Едва только солнце стало медленно исчезать на западном горизонте, как чудные явления стали сменять друг друга. Сперва над закатывающимся солнечным шаром поднялся как бы веер, сотканный из бесчисленных ярко горящих лучей; подобно исполинскому хвосту золотого павлина, украсил он на несколько минут темно-синий небосклон. Затем угас блеск светящихся перьев, солнце закатилось, оставив за собой как бы пурпурный плащ, затканый золотыми нитями и мало-помалу переходивший в темно-лиловые тона. Но это великолепное зрелище не привлекло внимания девушки. Она, правда, заметила, что исчезающее светило бросило розоватую тень на богато расшитый парус большого корабля, что его позолоченный нос ярче заблестел, и как рыбацьи лодки стали одна за другой входить в гавань, но она на все кидала лишь рассеянные взгляды. Какое ей было дело до бедных рыбаков Тенниса? А блестящий корабль, принадлежавший правительству, лично ей не мог ничего ни привезти, ни отнять. Ожидалось прибытие эпистратига (проконсула всей провинции). Но что ей за дело до него и до всех тех изменений, которые, как предполагали, он введет в управлении области и о которых отец с такой горечью отзывался перед своим отъездом? Ее думы были совсем о другом, а пока она смотрела, приложив руку к сильно бьющемуся сердцу, на городок, горевший огнями заката, в доселе тихой окружавшей ее природе началось необыкновенное движение.

Тесно сплоченными темными стаями слетались со всех сторон пеликаны и фламинго, гуси и утки, аисты и цапли, ибисы и журавли; бесчисленные водяные птицы стали спускаться на необитаемые острова. С раздирающими уши криками, гоготаньем, свистом и щебетанием возвращались они в свои гнезда, свитые посреди зарослей и тростников. В городе открывались двери домов, и мужчины, женщины и дети выходили наслаждаться вечерней прохладой, после утомительной работы у станка или в мастерской отдохнуть на воздухе. Челноки рыбаков один за другим входили в гавань; подошел и корабль с пестрым парусом. Какой он был огромный и красивый! Ни один царский чиновник не приезжал еще на подобном, такого не было даже у эпистратига Дельты, когда он в прошлом году приезжал передавать новым арендаторам банк и торговлю маслом. По-видимому, и оба торговые судна, следовавшие за ним, принадлежали ему.

Ледша равнодушно разглядывала корабль, но вдруг взгляд ее и лицо с красивыми строгими чертами изменили свое бесстрастное выражение. Большие черные глаза широко раскрылись, и с большим напряжением смотрели они то на богато разукрашенный корабль, то на нескольких мужчин, приближающихся к берегу и одетых в греческие одежды. Оба шедшие впереди вышли из большого белого дома, на двери которого с закатом солнца было устремлено все ее внимание. Того, кто был повыше, Гермона, ожидала она здесь у старой Табус. С наступлением ночи хотел он приехать за ней в «Совиное гнездо» и вдвоем под покровом темноты покататься на лодке. Но вот он шел не один; с ним был его товарищ по искусству, Мертинос, номарх, нотариус, и Горгиас, богатый владелец одной из главных ткацких мастерских в Теннисе, и несколько невольников. Что бы это значило?... Волна горячей крови залила ее лицо; она крепко сжала губы, и в углах рта появилось презрительное, почти жестокое выражение. Вскоре, впрочем, ее правильные тонкие черты прояснились, исчезло напряжение во взоре: ведь еще много времени до того момента, когда полная темнота позволит Гермону незаметно для всех приехать за ней. По всей вероятности, он должен присутствовать при чьей-то встрече и ни под каким предлогом не мог от этого отделаться. Да, верно, так оно и было. Разукрашенный корабль приблизился к берегу, насколько ему позволял низкий уровень воды, — стали слышны свистки, громкие команды и лай собак. С корабля

замахали платком, как бы приветствуя стоящих на берегу мужчин, но рука, державшая платок, была женской рукой; Ледша, несмотря на надвинувшиеся сумерки, это прекрасно различила. Черты приезжей нельзя было рассмотреть, но она, наверное, была молодой; старуха не вошла бы так быстро в лодку, которая должна была отвезти ее на берег. И Гермон, которого Ледша так ждала, помог незнакомке выйти из лодки. Кровь вновь прилила к лицу ее, когда она увидела, как тот, кто еще вчера так горячо клялся ей в своей страстной любви, нежно обвив стан приезжей, поднял ее из лодки. Она еще ни разу не видала Гермона в обществе женщин одного с ним происхождения и теперь, мучимая ревностью, смотрела, как он вместе с Мертилосом ухаживал за незнакомкой. Сумерки недолго продолжаются в Египте, и, когда Гермон простился с приезжей, было так темно, что Ледша не могла узнать того, кто сел в ту самую лодку, в которой она должна была ехать с Гермоном и которая теперь быстро стала приближаться к острову. Но кто бы это ни был, он, наверно, едет с поручением от ее возлюбленного. Одновременно с тем, как незнакомка в сопровождении других женщин и нескольких громко лающих собак скрылась в темноте, причалила лодка к «Совиному гнезду».

II

Несмотря на окружающую темноту, Ледша узнала того, кто выходил из лодки. Это был Биас, невольник Гермона, египтянин из рода биамитов. Она его видела в доме близкого ей родственника и обошлась с ним очень резко; ей не понравилась та вольность, с которой он, раб, осмелился заговорить с ней!

Правда, он родился сыном свободного владельца папирусной плантации, но уже мальчиком был вместе с отцом, участвовавшим в восстании против царя Птолемея I, продан в неволю в Александрию. На службе у Архиаса, дяди Гермона, а затем у этого последнего он свyksя со своим положением раба, но в сердце своем он продолжал любить свой род, ставя его выше греков, к которым принадлежал его теперешний господин. В доме Гермона, где постоянно вращались самые знаменитые художники Александрии, он приобрел много познаний и охотно учился многому. Больше всего желал он, чтобы его уважали, и добился этого; Гермон ценил его, не имел от него тайн и был уверен в его преданности и молчании.

Многих молодых красавиц, намеченных скульптором как подходящих ему натурщиц, сумел Биас уговорить и заманить в мастерскую своего господина. Но когда тот обратил внимание на Ледшу, дочь из уважаемой семьи рода биамитов, он стал убеждать своего господина не увлекаться ею и бросить эту опасную игру, зная, как ревниво биамиты оберегают честь своих женщин. Теперь он с радостью исполнял поручение своего господина: объявить Ледше, чтобы она не ждала своего возлюбленного. На ее вопрос, удерживает ли его вдали от нее знатная приезжая, он ответил, что ее догадка справедлива, но что, кроме того, по повелению самих богов, его господин обязан повиноваться этой знатной особе из Александрии. Она недоверчиво улыбнулась. Он, Гермон, и повиноваться женщине!

– Ты должна знать, – сказал невольник, – что художники скорей откажутся повиноваться десяти сильным мужчинам, нежели одной слабой женщине, если она красива. А по отношению к дочери Архиаса есть и другая причина...

– Архиас, – прервала его Ледша, – тот богатый александриец, владелец больших прядилен!

– Он самый.

– Так это его дочь, и ты говоришь, что Гермон обязан ей повиноваться и служить?

– Да, как служат богам или правде, – ответил важно невольник, – ее отец обязал нас долгом, который редко уплачивается; зовут его в нашей стране благодарностью. Нечего скрывать, мы многим обязаны старику, а поэтому должны расплачиваться перед его дочерью.

– Чем обязаны? – резко спросила Ледша, хмуря темные, сросшиеся брови. – Я должна это знать.

– Должна? – повторил невольник. – Это слово – плуг, годный только для рыхлой почвы; я же слишком тверд и ему не поддамся; господин мой ждет, и я должен идти. Хочешь ли ты что-либо передать Гермону?

– Ничего, – гордо ответила она.

– Вот хорошее слово, девушка! – сказал Биас одобрительно. – Среди всех дочерей рода биамитов ты самая богатая; пристало ли тебе отдавать этому греку все твои прелести и тем возбуждать любопытство всех этих александрийских обезьян, его окружающих? Право, для этой цели найдется достаточно женщин в Александрии! Поверь моей опытности, девушка, подобно выпитой пустой бутылке, он отбросит тебя в сторону, как только воспользуется тобой как натурщицей.

Она хотела его перебить, но он продолжал решительно:

– Да, воспользуется. Что можешь ты знать здесь, на твоём острове, окруженном водой, о жизни, об искусстве и художниках? А я их хорошо знаю. Такому скульптору так же нужны

красивые женщины для его работ, как сапожнику кожа. Он и не скрывает перед своим другом Мертилосом того, что ему нравится в тебе. Это – твои большие миндалевидные глаза, твои руки, их линии и изгибы, когда ты ими поддерживаешь на голове кувшин с водой. Твоя узкая, с высоким подъемом нога также лакомый кусочек для него...

Темнота мешала Биасу видеть лицо Ледши, но хриплый голос, полный негодования, которым она его перебила, выдал ее душевное волнение:

– Чего ты хочешь достичь твоими обвинениями, я не знаю; но, по мне, стыдно слуге такого доброго господина становиться между ним и тем, чего жаждет его душа.

Биас, задетый за живое, отвечал ей на наречии своего племени:

– Если б моя речь могла проложить между моим господином и тобой такое же расстояние, как вот между этой восходящей луной и Теннисом, для того чтобы тебя, а вместе с тобой и моего господина уберечь от стыда, то я бы заставил ее звучать подобно рычанию льва. Но, пожалуй, ты и тогда бы не поняла ее, потому что ты теперь глуха и слепа. Задавала ли ты себе когда-либо вопрос, похож ли этот грек на биамитских юношей, с которыми ты росла и для которых ложь отвратительна? А между тем он так же на них походит, как сок мака на прозрачную воду. В Александрии так же мало различают, что – правда и что – ложь, как мы здесь в темноте можем отличить синий цвет от зеленого. Для меня, несвободного, волосы которого уже седеют, Гермон – милостивый господин; я и без тебя знаю, чем я ему обязан, и служу ему верно. Но тут, когда он собирается неопытную дочь того племени, кровь которого течет в моих жилах, повергнуть в несчастье, а с ней и себя самого, моя совесть повелевает мне поднять голос, подобно сторожевому журавлю, когда всей стае грозит опасность. Берегись, повторяю тебе, девушка! Ведь, как бы ни клялся тебе Гермон, вашей любовной забаве скоро наступит конец, потому что недалек тот день, когда мы покинем Теннис. А когда он уедет, останется тут обманутая биамитянка, и будет она призывать проклятие богов на голову грека. Впрочем, ты не единственная, которая будет проклинать судьбу, приведшую нас сюда. И другие попались в его сети.

– Тут? – глухо спросила Ледша.

А невольник отвечал поспешно:

– А где же? И да будет тебе известно, что среди тех, кто бывал в мастерской Гермона, была и твоя младшая сестра.

– Наша Таус, совсем дитя! – вырвалось с ужасом у девушки.

– Да, дитя, которое расцвело теперь в прелестную девушку, а до нее бывала красивая Гула, жена Пассета, который уехал с твоим отцом.

Ледша вскричала:

– Низкий клеветник, теперь я вижу тебя насквозь, и теперь я постигла значение твоих предостережений. Ты, презренный раб, питаешь безумную надежду меня обворовать и обмануть; поэтому ты и стараешься всеми способами отвратить меня от твоего господина. Гула, жена корабельщика, посетила Гермона в мастерской, говоришь ты. Что ж, это, вероятно, правда. Если я и недавно вернулась домой, то все же в Теннисе раздается так много похвал героическому поступку грека, спасшего с опасностью для собственной жизни ребенка из горящего дома Пассета, что я об этом слышала с десяти различных сторон. Гула же – мать той девочки, которая осталась жива благодаря смелому подвигу Гермона, и нет ничего удивительного в том, что молодая мать постучалась в дверь своего благодетеля, чтобы еще раз выразить свою благодарность, а ты, нечестный...

– А я, – продолжал, с трудом сохраняя спокойствие, Биас, – я был свидетелем, как не раз и не два проскальзывала незаметно к нам Гула, чтобы дать возможность спасителю ее ребенка вылепить из глины те формы, которые ему в ней понравились. Желать тебя, – знай же, я, раб, сам себе это запретил, хотя неволя не убивает в человеке нежных чувств, подобно тому как загородка не мешает дереву пускать ростки и цвести. Эрос избирает и сердце раба

мишенью для своих стрел, но в твое сердце они попали вернее. Я знаю теперь, как глубока твоя рана, и знаю также, что, как только корабль там в гавани опять увезет нашу гостью, я увижу тебя в мастерской Гермона и увижу его, оценивающего зорким оком, что в твоей красоте достойно скульптора.

Порывисто дыша, Ледша выслушала его предсказание до конца, но тотчас же, подняв угрожающе сжатую в кулак руку, она злобно прошептала:

– Пусть он только попробует дотронуться пальцем до моего покрывала. Если б я не поехала к овдовевшей сестре, никогда ни наша Таус, ни злополучная Гула не дошли бы до этого.

– Вряд ли, – отвечал недоверчиво Биас, – пойдет цыпленок в воду, так ведь наседке не спасти его. Я, впрочем, знал мужа твоей сестры; мы свободными детьми росли одно время вместе. Да, сильный всегда поедает слабого, правое дело – всегда проигранное дело, и боги не лучше людей. Мой отец, поднявший меч против угнетения и несправедливости, поплатился свободой, а твоего зятя рано вогнали в могилу. Правда ли то, что здесь про вас рассказывают? Говорят, что после его погребения рабы его на кирпичном заводе отказались повиноваться его вдове; ты приехала ей помочь и заставила их слушаться. Целая дюжина мятежных рабов и ты, слабая девушка...

– Я не слабая, – перебила его гордо Ледша, – и будь их трижды двенадцать, я бы им показала, кто их властелин. Они теперь повинуются сестре, но лучше бы я не уезжала из Тенниса. Наша маленькая Таус, – продолжала она мягко, – осталась крошкой после смерти матери, и я, неразумная, вместо того чтобы ее охранять, бросила ее одну. Если она поддавалась обольщениям Гермона, то на меня и только на меня одну падает вина.

Тут сильнее запыхавший огонь, в который старуха Табус подбросила новый запас соломы и сухого тростника, осветил лицо взволнованной девушки; на нем отразилось ясно, какая борьба происходила в ее душе. Радуюсь успеху своих предостережений, Биас сказал:

– От чего ты хотела уберечь Таус, от того же должна ты сама теперь уберечься. Я иду теперь и передам моему господину, что ты отказываешься назначить ему новое свидание.

С уверенностью ждал он подтверждающего ответа и невольно вздрогнул, когда она произнесла:

– Напротив, соглашаюсь, – и, как бы поясняя, добавила, – он должен мне все разъяснить, где и когда, мне решительно все равно, если сегодня не может, то пусть завтра.

Обманутый в своих ожиданиях, Биас повернулся, чтобы идти к лодке. Она его удержала за руку.

– Ты должен еще остаться. Я хочу знать, действительно ли намерен Гермон скоро покинуть Теннис.

– Таково было его намерение сегодня утром, – отвечал невольник. – Да и что нам тут делать, когда его произведение почти окончено?

– Когда же он едет?

– Послезавтра, а быть может, через пять-шесть дней. Ведь мы сегодня не можем знать, что будет с нами завтра. Пока приезжая из Александрии будет здесь, вряд ли он и Мертилос уедут. По всей вероятности, она позовет их с собой на охоту; она ведь страстная охотница, а так как их работа почти окончена, то они, вероятно, с удовольствием будут сопровождать Дафну.

Говоря это, он уже занес ногу в лодку, но Ледша удержала его опять вопросом:

– А работа, как ты ее называешь? Она была закрыта холстом, когда я была в мастерской, но Гермон сам называл это статуей богини. Что же она представляет? Похожа ли она на мою сестру настолько, чтобы ее можно было узнать?

Насмешливая полупрезрительная улыбка появилась на устах Биаса, и он произнес поучительным тоном:

– Ты спрашиваешь о чертах лица? Нет, девушка, никакое лицо биамитянки не может служить для этого, даже твое, красавица.

– А для тела богини? – спросила она, волнуясь.

– Для него служила первоначально моделью белокурая Гелиодора, которую мой господин привез из Александрии, но эта дикая кошка и четырнадцать дней не выдержала в Теннисе; затем приехали две сестры, Нико и Пагис, но им также показалось здесь слишком тихо и безлюдно. Эти бездельницы только и могут жить, что в столице. Впрочем, вся подготовительная работа была уже закончена до нашего отъезда из Александрии.

– Ну а Гула и моя сестра?

– Они обе не годились для статуи богини Деметры, – засмеялся невольник. – Подумай, худощавый, едва сформировавшийся подросток Таус, и вдруг лепить с нее божественную покровительницу браков! А Гула, ее свеженькое кругленькое личико недурно, но этого мало, чтобы служить моделью для богини. И такую натурщицу можно найти только в Александрии. Чего там ни делают женщины, чтобы придать красоту своему телу! В храме Афродиты учатся они даже, подобно юношам, читать и писать. А вы, имеете ли вы понятие, как надо подкрашивать губы и веки глаз, как надо завивать волосы и обращаться с ногтями на пальцах рук и ног? А ваша одежда? Ведь у вас она просто висит, а на статуе моего господина вся одежда уложена искусными складками. Но я и так слишком долго здесь пробыл. Ты все же хочешь вновь повидать Гермона?

– Я хочу и должна его видеть.

– Хорошо же, – сказал он резко. – Но знай, если ты пренебрежешь моими предостережениями, я не стану сожалеть о тебе.

– Я и не нуждаюсь в этом, – ответила Ледша презрительным тоном.

– Ну, так пусть жребий твой свершится, – продолжал невольник, пожимая плечами, – я передам моему господину твое желание. В твоём доме много слуг, пусть посланный тобою принесет тебе ответ Гермона.

– Я приду сама и буду ждать ответа под деревьями вблизи его дома.

Невольник стал ее отговаривать от такого намерения, доказывая, что Гермона может быть недоволен этим и – чего доброго – в присутствии дочери Архиаса отречется от нее, как от назойливой нищей. Ледша уверенным тоном возразила:

– Ты меряешь твоего господина по своей мерке и не можешь знать, какое важное значение может иметь для нас это свидание. Напомни ему, что завтра ночь полнолуния, и, удерживай его десять александриек, он сумеет от них освободиться и придет выслушать то, что мне нужно ему передать.

С этими словами она повернулась и пошла к жилищу, а Биас, шепча проклятия, сел в лодку и погнал ее по направлению к Теннису.

III

При первых отдаляющихся звуках весел Ледша остановилась. С пылающими щеками смотрела она вслед лодке и на искрящуюся полосу, оставляемую лодкой на залитой лунным светом спокойной водной поверхности. Сердце ее было беспокойно, подозрения в искренности чувств возлюбленного, возбужденные в ней словами невольника, мучили и терзали ее гордую душу. Неужели Гермон только забавлялся ее любовью? Нет, этого не может быть! Все что угодно перенесет она, только бы избавиться от этой мучительной неизвестности. Она и приехала сюда, в «Совиное гнездо», к старой Табус, чтобы прибегнуть к ее искусству предсказательницы. Кто же лучше старухи и служащих ей адских духов мог ей открыть все то, что ее ждет в будущем! А старуха охотно окажет ей эту услугу, она ведь с ней очень близка. Впрочем, Ледше не надо было стыдиться своих частых посещений «Совиного гнезда»: как лекарка и ворожея Табус не имела себе равных, а как прародительница сильного рода пиратов была очень уважаема биамитами, которые не находили в морском разбое ничего предосудительного. Напротив, богатые биамитские судовладельцы очень их ценили; отец Ледши также дружил с ними. И когда Абус, старший внук старухи, приобретший известность своими смелыми и дерзкими поступками во время плаваний, стал просить руки его старшей дочери, он ему не отказал, но поставил одно условие: как только Абус достаточно приобретет богатств и женится на Ледше, он должен оставить пиратство и вместе с тестем возить товары и невольников из Понта¹ в Сирию и Египет, а хлеб и ткани с берегов Нила к Красному морю. Абус согласился на это условие, тем более что старуха Табус считала, что лучше отложить брак на некоторое время: Ледша едва вышла из детства.

Несмотря на свою молодость, Ледша страстно полюбила молодого пирата; она в нем видела героя, воплощение всех качеств истинного мужчины. Она мысленно следила за ним в его опасных плаваниях, страстно ждала его возвращения. Однажды его отсутствие продолжалось дольше обыкновенного; это плавание должно было быть последним; сейчас же после разгрузки хотели отпраздновать свадьбу. С большим нетерпением, чем когда-либо, ждала Ледша приезда своего жениха, но неделя уходила за неделей, а корабли из «Совиного гнезда» не возвращались. Мало-помалу стал распространяться слух, что пираты погибли в бою с сирийскими галерами. Первой получила точное известие старуха Табус. Ее внук Ганно, оставшийся в живых, подвергаясь большим опасностям, пробрался к ней на остров и принес ей печальную весть. Двое лучших судов погибли, а с ними вместе жених Ледши, храбрый Абус, старший сын старухи и еще трое внуков. Подобно удару молнии, поразили Табус эти слова; с тех пор язык ее стал плохо ей повиноваться и слух потерял свою чуткость.

Ледша в то тяжелое время не покидала ее, и только благодаря ее неумолимому и хорошему уходу осталась старуха жива. Ни Сатабус, ее сын и теперешний предводитель маленькой пиратской флотилии, ни внуки ее – Ганно и Лабай – не показывались со времени постигшего их несчастья вблизи Тенниса. Как только Табус оправилась настолько, что могла сама заботиться о себе, Ледша вернулась в город, где заведовала обширным хозяйством отца и заменяла мать своей младшей сестре, Таус. Беспечная веселость прежних лет не вернулась больше к ней, она перестала посещать празднества и увеселения биамитских девушек. Между тем красота ее достигла полного расцвета и привлекала многих искателей ее руки из соседних городов. Но мало кто из них решался предложить ее отцу свадебный выкуп: ее холодность и суровость отталкивали влюбленных юношей. Тяжелая задача, выпавшая на ее долю, – помочь овдовевшей сестре при восстании рабов – увеличила еще ее резкость и строгость. Вернувшись оттуда, она часто посещала «Совиное гнездо», чувствуя себя как бы

¹ Северо-восточная часть Малой Азии.

связанной родственными узами со старой Табус, и старалась, насколько могла, заменить ей погибшего внука.

Теперь ею вновь овладела любовь. Она любила греческого скульптора Гермона, на которого произвела сильное впечатление своей строгой, оригинальной красотой и который всеми способами добивался ее любви.

Сегодня она приехала к старой ворожее, чтобы от нее узнать, что ожидает ее любовь. Рассчитывая только на благоприятное предсказание, явилась она на остров, а теперь слова невольника как бы градом побили все ее надежды. Забавы ради и как материал она была нужна Гермону, и, как сказал Биас, который был выше и лучше других рабов, не она одна из женщин ее рода попала в сети. Даже на ее родной сестре испробовал он свою власть покорителя сердец, а она так ее берегла, так ее охраняла, и от нее действительно не скрылась, по ее возвращении, перемена, происшедшая в сестре, но она до сих пор не могла узнать причины этой перемены.

Луна, освещавшая своим серебристым сиянием окружавшие ее предметы, казалась горькой насмешкой для погруженной в глубокий мрак души ее. Будь ей, как той старой волшебнице, все духи ада покорны, она бы им повелела покрыть все небо мрачными, грозными тучами. Теперь же она заставит их предсказать ей, на что она должна надеяться или чего страшиться. И твердыми, решительными шагами направилась она к дому. Старуха сидела, скорчившись, перед очагом, повертывая вертел с насаженными на него тремя утками. Ее воспаленные глаза сильно страдали от едкого дыма, но, по-видимому, они ей лучше служили, нежели ее почти глухие уши; едва только она взглянула на вошедшую Ледшу, как спросила, с усилием произнося слова:

– Что там случилось? Наверно, ничего хорошего, я читаю это на твоём лице.

Девушка кивнула утвердительно, затем еще раз вышла, чтобы убедиться, как далеко отъехала лодка, зная по опыту, на какое далекое расстояние разносится по воде звук громкого голоса. Вернувшись, она наклонилась к уху старухи и громко произнесла:

– Он не приедет.

Табус пожала плечами, и довольная улыбка, разлившаяся по ее морщинистому коричневому лицу, показала, как приятно ей это известие. Уже ради памяти убитого внука было ей больно выслушивать признания девушки в любви ее к греку, но, кроме того, она имела другие виды на свою любимицу. Она молча кивнула головой, давая тем понять Ледше, что слышит ее, и та продолжала:

– Правда, завтра я увижу его опять, но думаю, что после этого свидания наступит конец нашей любви. Во всяком случае, слышишь ли, бабушка, завтра должно все решиться. Поэтому, понимаешь ли ты меня, должна ты сегодня, в эту же ночь, допросить звезды и планеты, а то, быть может, завтра их советы придут слишком поздно.

– Сегодня? – повторила удивленно Табус, снимая вертел с огня. – Сейчас, говоришь ты? Да разве это возможно? Как будто созвездия повинуются нам, подобно нашим рабам! Должно быть полнолуние, когда желаешь узнать правду от звезд. Подожди, дитя, ведь и вся жизнь не что иное, как ожидание. Терпение, девушка; правда, в твои годы не охотно этому повинуются, а многие так и за всю жизнь этому не научатся. А звезды, от них, от маленькой, как и от самой большой, можно научиться терпеливо идти своей дорогой из года в год. Всегда по тому же пути, тем же шагом. Для этих неумолимых путников не существует ни отклонений, ни большей или меньшей скорости, их не подгоняют и не удерживают ни злоба, ни страстное желание, ни утомление. Как я их люблю и уважаю. Добровольно подчиняются они до конца всех миров Величайшему Закону. То, что они предсказывают для данного часа, действительно только для этого часа, а не для другого. Все зависит от них; останови кто-нибудь на миг их путь – и земля пошатнется, ночь обратится в день, реки потекут вспять, на голове будут ходить люди, радость обратится в печаль, а власть – в рабство.

Поэтому, дитя, во время полнолуния небесный глаз, луна, предсказывает совсем иначе, нежели в остальные двадцать девять ночей лунного месяца. Требовать же от одних того, что принадлежит другим, равносильно ожиданию ответа от чужестранца, не говорящего на твоём языке! Как ты молода, дитя, и как ты неразумна! Допрашивать сегодня для тебя звезды, когда нет полнолуния, все равно что пойти собирать виноград на терновом кусте. Да, так оно и есть.

Тут она прервала свою речь, произнесенную с большим трудом и запинками, и вытерла своим темно-синим платьем покрытое каплями пота лицо, сильно покрасневшее от огня и волнения. С возрастающим разочарованием прислушивалась Ледша к ее словам. Быть может, мудрая старуха и права, но она должна во что бы то ни стало знать, прежде чем она завтра отважится пойти в мастерскую скульптора, чего ей опасаться и на что надеяться; поэтому она после короткого молчания решила задать следующий вопрос:

– Одни ли звезды могут предсказывать то, что судьба готовит каждому из нас?

– Нет, дитя, но именно сегодня ничего не может выйти из другого гадания; к нему надо заранее готовиться, надо с утра строго поститься, а я ела финики, которые ты мне принесла, вдыхала запах жареных уток. А потом, ведь нужно гадать ровно в полночь, а в полночь, если ты не будешь дома, твои домашние станут о тебе беспокоиться и пришлют сюда за тобой невольника, а этого не должно быть, я должна этому воспрепятствовать.

Ледша быстро перебила ее:

– Значит, ты ждешь кого-то? И я знаю кого, твоего сына Сатабуса или одного из твоих внуков. Да и к чему бы ты иначе жарила уток и велела бы мне принести из тайника кувшин с вином?

Сначала старуха как бы хотела убедить ее в несправедливости ее догадки, но затем, окинув девушку пронизательным взором, она произнесла:

– Нет! Перед тобой нам нечего скрывать. Бедный Абус! Ради него ты все еще к нам принадлежишь. И, несмотря на грека, ты наша и останешься нам верна, звезды подтверждают это. Ты умна и тверда; он был таким же, и вот почему вы так хорошо подходили друг к другу. Бедный, милый храбрый мальчик! Но зачем о нем сожалеть? Разве потому, что он покоится на дне моря? Какие мы глупые! Нет ничего лучше смерти, потому что она есть покой, и он теперь испытывает этот покой. Девять сыновей и двадцать внуков было у меня, и только трое остались, остальные же успокоились после всех смелых битв и опасностей, которых так много выпало на их долю. Далекий ли тот день, когда семеро из них сразу погибли! Остались только трое, и их черед придет. Я желаю им этого высшего блага, но я не хочу, чтобы и они тоже ушли раньше меня.

Голос ее понизился, и едва слышным шепотом продолжала она на ухо Ледше:

– Итак, знай же, Сатабус, мой сын, и его мальчики, Ганно и Лабай, придут сегодня, около полуночи будут они здесь, да хранят их боги! А ты, дитя, я ведь знаю твою душу, знаю ее до дна, и прежде чем ты предашь последних из семьи Абуса...

– Пусть раньше отсохнет мой язык и моя рука! – живо перебила ее Ледша и, двигая женской заботливостью, спросила, достаточно ли трех уток, чтобы утолить голод таких сильных и здоровых мужчин.

Старуха, улыбаясь, показала ей на ворох свежих листьев, под которыми было спрятано несколько крупных рыб. Она их начнет жарить, когда они придут, а запас хлеба у нее большой. И материнская заботливость придала ее хмурому, морщинистому лицу выражение доброты, почти нежности. В ее покрасневших глазах заблестала радость близкого свидания.

– Я увижу их еще раз, – заговорила она опять, – и увижу их всех вместе, моих последних. А если они... Нет, они не решатся затеять что-либо так близко к Пелусию², нет, уж ради

² Иначе – Син, или Болотный город, в Нижнем Египте.

того, чтобы не испортить мне, старухе, радости свидания. Они ведь добрые; никто не подозревает, каким добрым может быть мой суровый Сатабус. Теперь был бы он твоим отцом, девушка, останься жив наш Абус. Это хорошо, что ты здесь, они должны тебя повидать, да и мне было бы трудно одной справиться со всем, надо достать соль, индийский перец и кувшин с зитом³; его так охотно пьет мой сын.

Ледша отправилась в разрушенное левое крыло здания и там в глубокой впадине нашла все то, что старуха припрятала для своих близких; она охотно оказывала эти услуги старухе. Затем принялась хлопотать около рыбы, и, пока ее руки прилежно работали, она упрашивала старуху исполнить ее просьбу и погадать о ее будущем. Табус отказывалась до тех пор, пока Ледша не назвала ее несколько раз подряд бабушкой и не стала просить сделать это ради ее любви к ожидаемым гостям; тогда она согласилась исполнить ее желание.

Поднявшись с трудом, она достала из ящика, тщательно запрятанного в кучу тростника и соломы, медную чашу и дрожащими руками налила на дно красного вина из кувшина. Окончив все эти приготовления, она позвала Ледшу и еще раз повторила ей, что созвездия обладают полной силой для предсказаний только в ночь полнолуния, но что она прибегнет к другому способу гадания. Она велела девушке оставить всякую работу и только думать о тех вопросах, на которые она больше всего желала бы получить ответы. Затем стала она произносить целый ряд заклинаний, которые Ледша должна была повторять за ней, тогда как Табус, не отрывая ни на минуту глаз от чаши, пристально глядела на темную жидкость на дне ее. Порывисто дыша, следила девушка за каждым движением ворожеи. Вдруг Табус пробормотала как бы про себя:

– Вот оно!

И, продолжая все так же пристально смотреть на дно чаши, как бы описывая картину, находящуюся перед ее глазами, стала произносить прерывающимся голосом:

– Двое молодых людей... Оба греки, если одежда не обманывает. Один от тебя направо, другой налево... Этот последний белокурый; глубок и неизменчив взгляд его голубых очей. Это, верно, он и есть... Но нет! Его образ бледнеет, и ты поворачиваешься к нему спиной. Нет, нет, вы оба не имеете ничего общего друг с другом. Тот, другой, с черными вьющимися волосами и бородой; о нем думаешь ты и только о нем одном... Красивый юноша, и каким блеском окружено его чело! Своими глазами видит он больше, чем другие, но взгляд их так же непостоянен, как и все его существо...

Она остановилась, подняла голову и, смотря на пылающее лицо Ледши, сказала тоном предостережения:

– Я вижу много знаков счастья, но на них лежат темные тени и черные пятна. Если это он, дитя, то берегись!

– Это он, – пробормотала девушка как бы про себя.

Глухая старуха поняла эти слова по движению ее губ и продолжала, напряженно смотря на вино:

– Если б только его образ стал яснее, но каким он был, таким и остается. А теперь образ белокурого с голубыми глазами расплывается, а между тобой и чернобородым надвигается какая-то серая мгла. Если б она только рассеялась, а то таким образом мы ни на шаг не подвинемся вперед!

Повелительно прозвучали эти слова, и Ледша, полная внимания, с сильно бьющимся сердцем ждала дальнейших приказаний. Табус велела ей откровенно и правдиво, как будто она говорит сама с собой, рассказать, где встретилась она с тем, кого любит, каким образом ему удалось овладеть ее сердцем и чем он отплачивает ей за то чувство, которое он сумел в

³ Очень крепкий напиток,готавливаемый египтянами из пшеницы или ячменя.

ней возбудить. Речь старухи была до того неясна и сбивчива, что вряд ли кто другой, кроме Ледши, понял бы, чего она требует, но она все поняла и была готова ей повиноваться.

IV

Ни одному смертному не согласилось бы это замкнутое, гордое, самостоятельное создание выдать то, что волновало ее душу, что наполняло ее то живительной надеждой, то жаждой мести, но довериться демонам, долженствующим помочь ей разобраться в этих чувствах, она не колебалась ни минуты.

Повинуясь какому-то внутреннему побуждению, опустила она рядом со старухой на колени, поддерживая голову руками и глядя на тлеющий огонь, как будто в нем отражались одно за другим вновь оживающие впечатления, начала она свою тяжелую исповедь:

– Четырнадцать дней тому назад вернулась я домой с кирпичного завода сестры Таус; моя младшая сестра за время моего отсутствия утратила свою веселость, и я теперь знаю почему, но она к ней вновь вернулась в день праздника Астарты. Она достала красивых пестрых цветков и увенчала ими себя и меня. Мы присоединились к шествию теннисских девушек, которые поставили нас, как самых красивых, сейчас же за дочерьми Гирана. После жертвоприношения, когда мы направлялись домой, подошли к нам двое молодых греков и приветствовали дочерей Гирана и мою сестру. Один из них – тихий юноша с узкими плечами и белокурыми кудрями, другой – на целую голову выше, сильный, прекрасно сложенный и с гордо, самоуверенно приподнятой головой, обрамленной черной бородой. С тех пор как боги отняли у меня Абуса, ни один мужчина не привлекал моего внимания, сколько бы он ни старался, а белокурый грек с ясным блеском голубых глаз и нежным румянцем понравился мне, и имя его, казалось мне, звучало подобно музыке: Мертинос!.. Мне понравилось также, как он, подойдя ко мне, спросил меня совсем просто, почему он меня, самую красивую из всех красавиц, бывших в храме, никогда не видел в Теннисе. Я не обращала никакого внимания на другого; казалось, и он только был занят дочерьми Гирана и моей сестрой; он шутил с ними и забавлял их, но, так как они без умолку и громко хохотали, я стала опасаться, как бы чужестранцы, которых было много, не приняли их за гиеродул⁴, сопровождающих корабельщиков и юношей в подземелья храмов, поэтому я сделала знак Таус перестать и сдерживать себя. Это заметил Гермона – так звали высокого с бородой – и обернулся ко мне; при этом наши взоры встретились, и мне показалось, как будто мне вливают в жилы сладкое вино, потому что я видела ясно, что от одного взгляда на меня умолк его веселый язык. Но не он заговорил со мной, а Мертинос, прося меня не мешать этим прекрасным детям наслаждаться радостью и весельем, – ведь мы только для этого и созданы. Эти слова показались мне безрассудными, потому что много печали и страданий мне пришлось испытать с детства, а как мало радостей! И я ему в ответ только пожала презрительно плечами. Тогда обратился ко мне чернобородый, спрашивая, неужели я, такая молодая и красивая, перестала верить в радость и веселье. На это я ответила, что хотя это и не совсем так, но все же я не принадлежу к числу тех, которые проводят всю жизнь в шутках и громком смехе. В этом ответе заключался намек на его поведение, но он промолчал; зато белокурый сказал, что я несправедлива по отношению к его другу. Веселье принадлежит празднику, как свет – солнцу, но что в другое время руки Гермона не остаются праздными; еще не так давно спас он из горящего дома дочь Гулы, жены корабельщика. Тут прервал его друг, говоря, что его рассказ только еще более подтверждает мое мнение о нем, ибо прыжок в огонь доставил ему громадное наслаждение. Совершенно просто, точно это и должно быть так, прозвучали эти слова. А я ведь знала, что он при этом смелом подвиге едва не погиб, причем я подумала, что, кроме нашего Абуса, никто бы не сделал ничего подобного. Верно, я взглянула более дружески на него, потому что он заметил мне, что и я умею улыбаться и, наверно, всегда бы улыбалась,

⁴ Во многих храмах гиеродулы, женщины-послушницы, предавались разврату в пользу храма.

знай я, как мне это идет. Затем он оставил других девушек и пошел подле меня, а белокурый присоединился к прочим. Сначала шел Гермон молча; казалось, будто его веселость разом иссякла. Серьезным и задумчивым стало его прекрасное лицо, а когда наши взоры вновь встретились, я пожелала, чтобы они никогда не расходились, но вскоре из-за окружающих стала я смотреть в землю, и так шли мы довольно долго. Наконец меня рассердило то, что он как будто не находит слов для меня и лишь изредка бросает на меня испытующий взгляд; я спросила его, почему он, так весело забавлявший других, стал вдруг таким молчаливым. Он покачал головой и ответил – каждое его слово запечатлелось в моей памяти: «Самому красноречивому человеку откажется служить язык, когда он увидит перед собой чудо». Что мог он подразумевать под этими словами, как не меня и мою красоту? Он же, заметив, в какое волнение повергли меня его речи, схватил мою руку и, сжимая ее до боли, сказал: «Как должны любить тебя бессмертные, если они тебе даровали большую часть их божественной красоты!»

– Греческий мед, – пробормотала ворожея, – но достаточно сладкий, чтобы вскружить такую юную голову. Как же было дальше? Демоны желают знать все до мельчайших подробностей.

– До мельчайших подробностей? – повторила Ледша нерешительно. Затем, проведя рукой по лбу, она неохотно продолжала: – Да, знай я сама, как это случилось, понимай я, что случилось, и будь я в состоянии передать это словами, я бы не стала обращаться за советами к чужим, как мне вновь обрести покой. Но так из храма в храм ходила я в моем смятении, а теперь вот пришла к тебе и к твоим демонам. Как в горячке проводила я дни, и, забывая об опасности, о людской молве, несли меня мои ноги, помимо моей воли, все только туда, где он желал меня встретить. И как умел он льстить, как умел он описывать мою красоту! Как можно было после этого не верить ей, не полагаться на ее власть!..

Тут она остановилась, и, пока она молча смотрела в огонь, точно солнечный луч озарила улыбка ее строгое лицо, и она вновь начала:

– Проклясть хотела бы я эти дни бессилия и упоения, которые, как я надеюсь, по крайней мере, теперь прошли! И все же как чудно хороши они были, и позабыть их я не смогу никогда!..

Она замолчала, низко опустив голову. Старуха сказала ободряющим тоном:

– Да, да, я все это понимаю и могу даже сказать, что дальше будет, так как то, что показывает поверхность вина, не обманывает никогда. Но все должно быть еще яснее; дай мне умолить адских духов, и они исполнят свой долг, если ты расскажешь все, ничего не скрывая.

Ледша, как бы ища поддержки, прислонилась к плечу Табус и вскричала:

– Я не могу, нет, не могу! Как будто духи, повинующиеся тебе, и без того не знают, что было и что еще будет. Дай им заглянуть в мою душу, и они собственными глазами там увидят то, чего я не могу ни выразить, ни описать словами. Да, даже тебе, бабушка, не удалось бы это сделать, потому что кто здесь между биамидами высказывал когда-либо такие высокие, душу и сердце захватывающие мысли, какие высказывал Гермон! Какими речами и какими страстными взглядами он умел успокаивать мои ревнивые жалобы! Могла ли я продолжать сердиться, когда он, сознавая в том, что здесь есть и другие красавицы, нравящиеся ему, говорил, что, стоит мне только показаться, и они для него все исчезают, как звезды при восходе солнца! Тогда я забывала все, и мое негодование превращалось в еще более сильную любовь. Это не скрылось от его зоркого взгляда, который все понимает, все постигает, и он стал осыпать меня нежными страстными просьбами последовать за ним в его мастерскую хотя бы на один час.

– И ты уступила его просьбам? – прервала ее озабоченно Табус.

– Да, – правдиво ответила она, – третьего дня вечером было это, но только один-единственный раз. Ты знаешь, бабушка, как я с детства ненавидела таинственность и скрытность...

– А он, вероятно, превозносил их тебе до небес.

Молчаливый знак Ледши подтвердил ее догадку. Девушка продолжала:

– Только вдали от далеких взоров, говорил он, с наступлением темноты слышны трели соловья в темных кустах. Да, это его слова, и, как бы ты ни восставала против них, бабушка, в них все же есть правда.

– Да, до тех пор, пока таинственность не исчезнет и солнце не осветит горя. И ты наслаждалась под кровом обольстителя столь восхваленной любовью до тех пор, пока вас не пробудило пение петуха?

– Нет, – ответила решительно Ледша, – но зачем ты так недоверчиво на меня смотришь, разве я тебя когда-нибудь обманывала?

– Какое – недоверчиво, – отвечала старуха, – мне просто страшно при мысли об опасности, которой ты подвергалась.

– Да, она была велика, – созналась девушка, – я ее заранее предвидела, и все же, вот что самое ужасное, все же мои ноги, помимо моей воли, привели меня к нему. А когда я переступила его порог, все мои сомнения исчезли, меня приняли подобно царице. Ярко освещенный покой, повсюду цветы, все двери увиты ими... С глубоким уважением, как знатную гостью, пригласил он меня занять место напротив него, дабы он мог по моему образу вылепить богиню. Это было высшее, чего я могла желать, и охотно встала я так, как он мне указал. Он блестящими глазами осмотрел меня со всех сторон и стал меня уговаривать распустить волосы и снять покрывало, скрывавшее их. Тогда... но должна ли я в этом уверять?... кровь моя закипела во мне от негодования; он же вместо того, чтобы устыдиться своих слов, протянул руку к моей голове и дотронулся до покрывала. Горя стыдом и негодованием, прежде чем он успел меня удержать, покинула я его мастерскую. Никакие его мольбы и просьбы не убедили меня вновь вернуться.

– Несмотря на все это, ты продолжаешь с ним видеться? – сказала холодно ворожея.

– Даже вчера еще не могла я ему в этом отказать, – тихо ответила Ледша.

– Безумная, – сказала ворожея.

Ледша, полная искреннего смущения, вскричала:

– Зови меня этим именем; быть может, я заслуживаю еще большего порицания, потому что, несмотря на всю твердость, с которой я ему запретила напоминать мне хоть одним словом о его мастерской, я опять стала охотно внимать его мольбам не отказывать ему, если я его действительно люблю, в том, что составит его счастье. Его слава и известность, говорил он, упрочатся, если я позволю ему вылепить мой образ, и как он уверял меня в этом! Я не могла не поверить ему. Я согласилась на все и обещала, забыв об отце и о кумушках, прийти к нему в мастерскую, пусть только он подождет ночи, когда будет полнолуние.

– А он? – спросила Табус.

– Он называл вечностью то краткое время, которое нас разделяло от этой ночи; мне оно казалось не менее длинным. Но все его просьбы не заставили изменить моего решения; то, что ты мне еще в прошлом году предсказывала по звездам, поддерживало мою решимость. Ведь ты помнишь, мне было тогда предсказано, что в ночь полнолуния начнется для меня новая жизнь, полная высшего счастья, и я боялась – поддайся я охватившей меня страсти раньше времени, указанного мне судьбой, – лишиться по безрассудному легкомыслию того великого счастья, которое меня ожидает по твоему предсказанию.

– А он? – повторила опять Табус.

– Он с трудом подчинился моей воле, но я оставалась тверда, и ему пришлось покориться. Сегодня я, уступая его просьбам, согласилась повидаться с ним здесь. В ушах моих

раздается еще его голос, с нежной укоризной говорящий, как ненавистны ему тот день и та ночь, когда он не видит меня. И что же? Повинуясь желанию другой, заставляет он меня напрасно ожидать его, и если раб не солгал, то это только начало его низкой измены.

Последние слова произнесла она хрипло, страшно волнуясь.

– Успокойся, дитя, – сказала Табус, – все должно быть ясно перед нами. Духи желают все знать, а ты, пришла ли ты с тем, чтобы выслушать, хотят ли они сдержать то, что тебе когда-то обещали?

После утвердительного ответа Ледши она продолжала, допытываясь:

– Ну, так расскажи же мне сначала, что тебя теперь так сильно восстановило против столь любимого тобой человека.

Девушка стала передавать те слухи, которые еще раньше доходили в Теннисе до нее, и то, что ей передал сегодня невольник Биас. Других женщин, и в их числе ее сестру, завлекал он к себе в мастерскую. Если он и ее зовет туда, то не из любви к ней, а чтобы воспользоваться руками, ее фигурой, насколько они ему будут нужны для его работы. И он спешил, так как задумал вскоре покинуть Теннис. Замышляет ли он ей изменить и бросить, воспользовавшись ею для своих целей? Вот что хотела она узнать от старой ворожеи. Об этом же хотела она завтра его лично спросить. Горе ему, если духи признают в нем изменника. За ее сестру и за Гулу, изменившую мужу ради него, заслуживает он кары.

Услыхав эти слова, ворожея злобно проговорила:

– Если это правда, если грек действительно так поступил, ну, тогда... Многие должны мы переносить от чужестранцев благодаря их легкомысленному веселью, но тот, кто затронет супружескую честь биамитов, тот расплачивается жизнью. Так было прежде и, благодарение богам, осталось и поныне. Рыбак Фабис не далее как в прошлом году убил молотом александрийского писца и утопил свою неверную жену. Твоего возлюбленного же... Если бы ты даже выплакала глаза от печали по нем...

– Я – оплакивать изменника, если он заслужил смерти? – прервала ее Ледша с блестящими от негодования глазами. – Ну, да мы сейчас узнаем, заключалась ли правда в обвинениях раба, и если те обвинения окажутся справедливыми, то завтрашнее полнолуние во всяком случае даст мне высшее счастье – месть. Прежде, когда я была моложе и счастливее, я спорила с Табусом, говорившим, что выше любви стоит другое чувство – удовлетворенная месть. А теперь я с ним вполне согласна.

– Хорошо, дитя, хорошо, ты истинная дочь твоего племени, – одобрила ее Табус.

Она стала опять пристально и молча смотреть на вино в чаше, наконец приподняла седую голову и тоном искреннего участия произнесла:

– Бедное дитя, да, ты низко обманута. Как ядовитое растение, вырви ты с корнями из своего сердца любовь к этому человеку. Полнолуние, долженствующее принести тебе высшее счастье, не есть завтрашнее, ни даже следующее, но не в далеком будущем засияет то полнолуние, при свете которого ты достигнешь счастья. Только даст его тебе не грек, а другой.

Порывисто дыша, слушала ее девушка. Твердо, как в свое собственное существование, верила она в предсказания старой ворожеи. Все ее счастье, все сладкие надежды, наполнившие было ее лишенную радости душу, все теперь разбито вдребезги. Громко рыдая, бросилась она на колени перед старухой и спрятала свою красивую голову в складках ее одежды. Вся охваченная внезапно нахлынувшим на нее горем, забыв и сладость мести, и предсказание большого счастья в будущем, лежала она плача, между тем как старуха, любившая ее и припоминавшая, быть может, то далекое время, когда предсказания другой ворожеи заставляли ее также проливать слезы, ласково гладила Ледшу дрожащими руками. Пусть выплачется здесь дитя. Время, а также месть залечивают многие сердечные раны. И то же время должно принести бывшей невесте ее внука то высшее счастье, о котором предсказывали

сначала созвездия, а потом зеркальная поверхность вина на дне чаши. И ей казалось, что она знает, в ком найдет вновь Ледша свое дважды утерянное счастье.

Нежно стала она шептать ей слова утешения до тех пор, пока Ледша не подняла свое мокрое от слез лицо. Повинуясь какому-то невольному желанию поцеловать огорченную девушку, старуха наклонилась к ней; при этом движении медная чаша скатилась с ее колен и со звоном упала на глиняный пол. В ужасе вскочила Ледша, и в то же время раздался в ночной тишине страшный лай своры собак, привезенных в Теннис дочерью Архиаса. Лай их был так громок, что даже глухая Табус услышала его. А Ледша поспешно вышла из жилища и, сейчас же вернувшись, закричала старухе:

– Они идут!

– Они, они, – заволновалась та, стараясь пригладить и запрячь под покрывало свои седые растрепанные волосы.

Еле слышным от радостного волнения голосом она продолжала:

– Я это знала; он сдержал свое слово, мой дорогой Сатабус. Скорей, скорей, дитя, утки, хлеб, рыбу. Мой добрый сын!

На скудно освещенный пол упала широкая длинная тень, и с порога раздался своеобразный, отрывистый и радостный смех.

– Сатабус, мой сын, мой мальчик! – воскликнула старуха.

– Мать! – громким криком отвечал ей седобородый пират. И с распростертыми объятиями пошел он навстречу горячо любимой матери, которую не видал более двух лет, бросился перед ней на колени и своими сильными руками приподнял маленькую сторбленную старуху.

Она левой рукой обняла грубую шею сына, а правой гладила ему щеки, лоб и густые, почти белые волосы. То, что срывалось с их губ в первые минуты свидания, были не слова, а какие-то, едва ли кому понятные, восклицания. И все же они были понятны матери и сыну, и даже Ледша, стоявшая поодаль, сознавала, что эти отрывистые, невнятные, малозначащие восклицания исходят от избытка сердечных чувств, волнующих этих двух столь близких людей. Невольно при взгляде на них чувство зависти сжало ее сердце. Боги так рано лишили ее матери, а этому седому дикому борцу против собственности, права и закона сохранили ее, и он мог согревать свое суровое сердце теплой материнской любовью. Прошло довольно много времени, прежде чем старый морской разбойник выпустил мать из объятий и сел возле нее, у очага. Тут только вернулась к Табус способность выражаться понятными словами, несмотря на трудность, с которой она говорила из-за почти парализованного языка. Целые потоки нежных и благодарственных слов полились из ее уст, и, казалось, она видела вновь в суровом, в кровавых битвах поседевшем сыне то маленькое существо, которое она когда-то носила на руках и прижимала к своей груди. Так же нежно и любовно отвечал он ей. Глаза ее наполнились слезами радости, и она спросила его, что ему в ней, такой слабой, ни на что не годной старушонке, живущей только изо дня в день в тягость себе и другим. Он рассмеялся и глубоко тронутым голосом произнес:

– Не будь тебя, кто был бы тем звеном, которое соединит нас всех на наших кораблях? Самая богатая добыча не стояла бы в наших глазах и драхмы, не думай мы про себя, как порадует за нас мать, когда узнает о ней. А в трудное время, когда нам приходится плохо, когда мы ранены или когда кто-нибудь из нас погиб, насколько легче становится при мысли, что у старухи матери найдутся для каждого из нас слова жалости, слова утешения! А в минуту страшной опасности, когда вся жизнь поставлена на ставку, когда все зависит от одного отважного шага, кто бы из нас на него решился, не знай мы, что ты душой и сердцем день и ночь с нами и что ты пошлешь нам на помощь духов, повинующихся тебе. Много раз поспевала их помощь вовремя и помогала нам отрубить неприятельскую руку, уже душившую нас. Но все, что я только что сказал, не самое главное; без всего этого можно было бы

как-нибудь обойтись. Самое же главное, что у нас еще есть мать, сердце которой желает нам всего лучшего, а врагам нашим – смерть и гибель, и что вот эти самые старые глаза будут проливать слезы по каждому из нас. Вот самое главное, что мы имеем в тебе, матушка, и чем ты нам необходима.

Произнося последние слова, он наклонился к старухе и нежно, бережно, точно опасаясь причинить ей боль, поцеловал ее в голову. Затем подошел он к Ледше, в которой все еще видел невесту убитого сына, и дружески приветствовал ее. Необыкновенная красота девушки, поразившая его, еще больше укрепила в нем желание видеть ее женой Ганно, его второго сына, только что вошедшего в дом. Молодой пират не уступал отцу ростом, но черты лица его были тоньше и красивее, а волосы и борода были блестящего черного цвета. В смущении остановился юноша, глядя на Ледшу с нескрываемым восхищением; она показалась ему красивее, чем представлялась в его воспоминаниях. В последний раз, когда они виделись, она была невестой его брата, и обычай страны запрещал ему думать о ней, смотреть на нее. Но когда после смерти брата ничто больше не препятствовало думать о ней, она стала представляться ему самой красивой из всех виденных им женщин, и в сердце его все больше и больше росло желание сделать ее своей женой. Никому, даже брату своему Лабаю, не говорил он о своем намерении. Замкнутый и скрытный, он хотя и повиновался всегда отцу, но, где было только возможно, поступал по-своему.

Несмотря на желание видеть Ледшу женой сына, Сатабуса рассердило то, что вид красивой девушки заставил Ганно как бы забыть о присутствии бабушки. Сильной рукой схватил он за плечо молодого великана и повернул его к ней. Ганно тотчас же понял свою вину и, приблизившись к бабушке, в кратких, но сердечных словах выразил, как он рад ее видеть. С гордостью и любовью смотрела Табус на мужественную фигуру внука, затем, обратившись к Ледше, она сказала:

– Точно Абус встал из могилы!

Молодая девушка, занятая приготовлением рыбы, быстро взглянула на брата умершего жениха и отвечала:

– Да, он напоминает его.

– Не только наружностью, но и храбростью, – заметил с отцовской гордостью старый пират и, указывая на широкий шрам на лбу сына, продолжал, как бы поясняя: – Этот знак отличия получил он, мстя за брата. Будь удар немного сильнее, молодец отправился бы вслед за братом, к которому он перед тем отправил с полдюжины неприятельских душ на поклон.

При этих словах Ледша протянула Ганно руку и дозволила ему удержать ее в своей, пока страстный взгляд его черных очей, встретившись с ее глазами, не заставил ее покраснеть и отдернуть руку.

Указывая на рыбы, она сказала Табус:

– Они готовы, их можно жарить; а тут ты найдешь все, что тебе нужно; я же должна вернуться домой.

Прощаясь, она спросила мужчин, может ли надеяться застать их здесь и завтра.

– Пожалуй, будет слишком светло во время полнолуния, – отвечал отец, – хотя вряд ли решатся нарушить наше право убежища, а корабли под видом торговых вошли с грузом дерева в полный порядок в гавань Тенниса и стоят там на якоре. Кроме того, власти думают, что мы совсем покинули здешние воды и, наверно, не выберем для нашего возвращения таких светлых ночей. Все же я не могу сказать ничего утвердительного, пока не увижу Лабайя, стоящего теперь на часах на нашем корабле.

– Меня-то ты найдешь здесь во всяком случае, что бы ни случилось, – уверил ее Ганно.

Табус быстро обменялась взглядом с сыном, и тот сказал:

– Он сам себе господин. Если мне придется покинуть остров, ты, девушка, должна будешь удовольствоваться моим молодцом. И то правда, что ты ему больше подходишь, чем мне, седобородому.

Он, улыбаясь, подал руку Ледше, а Ганно пошел ее проводить до челнока. Он шел молча некоторое время, но, когда молодая девушка приблизилась к лодке, он повторил ей обещание дожидаться ее здесь завтра.

– Хорошо, – быстро сказала она, – и я, быть может, дам тебе поручение.

– Я в точности исполню его, – ответил он твердо.

– Итак, до завтра, если меня не задержит что-либо необычайное.

Сидя уже с веслом в руке, обернулась она еще раз к нему и спросила:

– Сколько нужно тебе времени, чтобы провести сюда твой корабль с горстью храбров?

– Четыре часа, а при благоприятном ветре еще меньше, – был ответ.

– Даже против воли твоего отца?

– Даже если б все боги, какие только существуют, запретили мне это, и тогда бы я это сделал, знай я только, что заслужу твою благодарность.

– Да, ты ее заслуживаешь, – ответила она.

И тихий плеск воды раздался в ночной тишине.

V

На северной оконечности городка Тенниса, у самой воды, на площади, поросшей травой, возвышалось большое белое, лишенное всяких украшений здание. Обращенная на юг сторона была окружена дамбой из тесаных камней, которая защищала здание от воды. Архиасу, владельцу больших ткацких мастерских и отцу знатной девушки, приехавшей вчера из Александрии, принадлежала обширная площадь и белое здание на ней. Оно было выстроено как склад для громадных запасов льна и шерсти, а также для тканей, выделяваемых его ткачами. Вначале оно, казалось, вполне соответствовало своему назначению, так как корабли, привозившие сырье в Теннис, могли прямо здесь разгружаться. Но здания ткацких мастерских находились на большом расстоянии от складов, приходилось затрачивать много времени и труда для перевозки материала; тогда Архиас провел канал к ткацким мастерским, и корабли стали подвозить товары прямо туда, избегая таким образом двойной перевозки. Белый дом оставался без определенного назначения до тех пор, пока владелец не решил предоставить его обширное помещение своим племянникам, скульпторам Мертилосу и Гермону, дабы они могли там работать над двумя произведениями, с исполнением которых были связаны для художников большие надежды и ожидания. В этом обширном здании, заключавшем теперь мастерские и жилые комнаты скульпторов и их рабов, можно было найти помещение и для дочери Архиаса и ее прислуги. Но Дафна, узнав от художников, что крысы, мыши и другие столь же приятные животные разделяли с ними их жилище, предпочла разбить на обширной площади палатки и разместиться в них. Эта площадь, палимая солнцем, песчаная, кое-где покрытая выжженной травой, носила громкое название сада благодаря трем пальмам, небольшому количеству рожковых деревьев, нескольким фиговым кустам и ветвистому сикомору; теперь же она приняла нарядный и живописный вид. Большая палатка Дафны, белая с голубыми полосами, заключала в себе ее роскошно убранную приемную и столовую; в соседней, меньшей, была устроена спальня, которую разделяла с ней ее компаньонка Хрисила, а в третьей помещалась кухня с поваром и его помощниками.

Егеря, доезжачие и невольники разместились в повозках, а многие из них ночевали под открытым небом около наскоро устроенной псарни, и до того времени пустынный сад превратился в пестрый и шумный лагерь. Утром на другой день неожиданного приезда дочери Архиаса, задолго до восхода солнца, рабы и вольноотпущенные были на ногах. Дафна назначила для охоты тот ранний час, когда пернатые обитатели островов начинают покидать гнезда и чащи кустов. Ее двоюродные братья, скульпторы, желая ей угодить, отправились с ней, но охота продолжалась недолго, и в то время, когда теннисский рынок был в полном разгаре, челноки охотников пристали к берегу. С ними приехали биамитские лодочники и рыбаки, служившие им проводниками и знавшие места выводков. Коричневые, с белыми подпалинами, собаки выскочили из лодок и с громким лаем, отряхиваясь от воды, побежали к палаткам. Темнокожие рабы понесли к белому дому добычу; они положили на ступенях у входных дверей несколько рядов крупных птиц. Стрелы Дафны положили на месте всех этих птиц, так, по крайней мере, говорили ловчие, хотя и подозревали, что главный егерь присоединил к добыче госпожи несколько пеликанов и грифов, убитых другими. Прежде чем удалиться в свою палатку, Дафна осмотрела их и осталась очень довольна результатом охоты. Она слыхала раньше о несметном количестве птиц, населяющих эти острова, но число убитых птиц превышало даже самые большие ее ожидания; ее голубые глаза радостно заблестали при виде того, какая богатая добыча досталась на ее долю за такое сравнительно короткое время, но сейчас же тень неудовольствия проскользнула на ее выразительном лице. Запах этих птичьих тушек, на которые уже падали лучи полуденного солнца, неприятно поразил ее, и какое-то чувство недовольства, в котором она не могла отдать себе отчета,

заставило ее от них отвернуться. Ее движения были полны благородства и прирожденной грации. Высокий чернобородый Гермон с нескрываемым восхищением художника оглядел ее прекрасно сложенную фигуру. Легкая полнота форм и решительная поступь заставляли принимать ее скорее за молодую женщину, нежели за девушку, но оба художника, близкие к ней с детства, знали, сколько скрывалось скромности и сердечной доброты под самостоятельным и решительным видом этой двадцатидвухлетней девушки. Белокурый Мертилос, казалось, не обращал ни малейшего внимания на убитых птиц, которых считал домоправитель Архиаса, вифиниянин Грасс. Гермон смотрел на них очень внимательно и, в то время как Дафна собиралась удалиться, воскликнул тоном недовольства, указывая на безжизненных обитателей воздуха:

– Да будет стыдно нам, людям! Желал бы я знать, может ли самая кровожадная гиена за несколько часов уничтожить столько живых существ! Дикие звери не в состоянии убить даже несчастного воробья после того, как утопили свой голод. А мы! Ты, мягкосердная, жрица доброй богини, и мы, друзья муз, поступаем иначе. Смотри, целая гора мертвых тел, и что с ними станет? Несколько гусей и уток попадут на твою кухню, другие же, например, розовато-красные фламинго, великодушные пеликаны, кормящие своих детенышей собственной кровью, они все годятся только на то, чтобы их выбросить, потому что биамиты не едят птиц, убитых стрелами, и даже твои черные рабы откажутся их попробовать. Итак, мы уничтожаем сотни жизней для времяпрепровождения. Какой позор! Как будто у нас так много лишних часов до того времени, когда нас примет мрачный Аид в свое царство теней. Какой-нибудь звериный философ имел бы полное право сказать нам: «Стыдись, кровожадное чудовище!»

– Стыдись ты, вечно недовольный, – прервала его обиженная Дафна. – Кто когда-либо находил жестоким убивать бессмысленных тварей на веселой охоте с целью развить зоркость зрения и верность руки? Но как должна я назвать того, кто своими едкими упреками испортил мне, своей приятельнице, все удовольствие от весело проведенного утра?

Гермон пожал плечами и тоном скорее сожаления, нежели порицания сказал:

– Если тебе нравится эта масса трупов, то продолжай твои убийства; ты можешь даже сохранять свои стрелы и ловить руками кишашую здесь дичь. Будь твои жертвы людьми, кто знает, быть может, они были бы тебе очень благодарны, ибо что такое жизнь?

– Для этих-то жизнь есть все, – заговорил Мертилос, которого Дафна взглядом как бы просила прийти на помощь, и, обращаясь к ней, он продолжал: – Ты знаешь, как охотно я везде и всюду беру твою сторону, в данном же случае не могу этого сделать. Посмотри только сюда, твоя стрела раздробила этому морскому орлу крыло; он только что очнулся. Что за прекрасная птица, как блестит его глаз, полный злобы и жажды мести! Как протягивает он в своей бессильной злости к нам голову и... отойдя назад, с какой силой воли, несмотря на боль в простреленном крыле, расправляет он другое и подымает свою тяжелую лапу с сильными когтями! Красиво сверкает и переливается его оперение там, где оно ложится гладью, и как грозно оно раздулось на его шее! А те, другие, тут же подле него! В безжизненную, никуда не годную массу превратили мы их, а давно ли они ударами своих могучих крыльев прорезали воздух и громким радостным криком возвещали птенцам в гнездах о своем возвращении с кормом? Наслаждением для глаз была каждая из них, пока наша стрела не настигла ее, а теперь? Если Гермон с его сострадательным сердцем осуждает такую охоту, он вполне прав. Она отнимает у свободных невинных существ то, что у них есть самого лучшего, – их жизнь, а нас лишает приятного, красивого зрелища. В общем, я считаю, что жизнь птицы не стоит многого, но я, как и ты, ставлю красоту выше всего. Что была бы наша жизнь, не будь ее? И где бы и в чем бы ни проявлялась красота, уничтожать ее, по-моему, безбожно.

Тут молодого художника прервал припадок кашля, который, как и влажный блеск его голубых глаз, указывал на болезнь легких. Дафна, кивнув утвердительно обоим скульпторам, отдала приказание домоправителю Грассу убрать с глаз долой убитых птиц.

– Быть может, – заметил вифиниянин, – госпожа позволит отрезать у пеликанов часть их крепкого клюва, а у фламинго и хищных птиц их маховые перья и по возвращении домой показать их господину нашему как трофеи охоты?

– Трофеи, – повторила Дафна презрительно. – Ты, Гермон, лучше меня, лучше нас всех, и я сознаюсь, что ты прав. Где дичь летит в таком количестве навстречу твоим стрелам, там охота становится убийством, и при таких легко достигаемых успехах теряется удовольствие, которое охота могла бы доставить. Назначенная после заката солнца вечерняя охота отменяется, Грасс. Заведующий охотой, вместе с егерями и собаками, может сегодня же отправляться на грузовых судах домой. Я не буду больше здесь охотиться. Одних хищных птиц можно и должно было бы здесь уничтожить.

– Им-то я и желаю больше всего сохранить жизнь, – прервал ее Гермон, смеясь, – потому что они лучше всего умеют ею пользоваться.

– Ну, так сохраним мы ее, по крайней мере, этому морскому орлу! – вскричала Дафна и приказала домоправителю позаботиться о раненой птице.

Когда же орел сильно ударил клювом взявшего его биамита, Гермон повернулся к молодой девушке и сказал ей:

– От имени орла благодарю тебя, несравненная, за твое доброе побуждение, но боюсь, что этому раненому не поможет даже самый тщательный уход, потому что, чем выше стремится он, тем вернее погибает, когда его сила и энергия разбиты. Вот и моя энергия очень пострадала.

– Как, здесь! – вскричала она озабоченно. – И теперь, в такое время, когда тебе нужна вся твоя энергия и сила для твоей работы!

Прервав себя, она стала искать глазами Мертилосо. Но кашель заставил его удалиться. Тогда она продолжала более мягко:

– Как ты можешь так тревожить меня, Гермон? Что случилось с тобой? Что омрачает твою творческую радость и отнимает у тебя надежду на успех?

– Подождем конца, – ответил тот, откидывая назад свои выющиеся черные волосы. – Когда я при скачке через ров попаду в тину, то я должен это перенести, если я все же могу достигнуть другого берега, на котором цветут мои розы.

– Значит, ты опасаясь, что твоя богиня Деметра тебе не удалась? – сказала Дафна.

– Не удалась? – сказал Гермон. – Это слишком сильное выражение. Работа моя идет менее успешно, нежели я предполагал вначале. Для головы мы пользовались одной моделью. Ты потом увидишь, нельзя было придумать ничего лучшего. Но тело! Мертилос знает, как серьезно я к этому относился, как старался я вложить в мою работу всю творческую силу, которой я только обладаю. Натурщицы, правда, не выдерживали здесь. Но если бы даже моя сила по какому-то волшебству увеличилась вдвое, то и тогда все мои усилия были бы напрасны. Я допустил в чем-то ошибку, думаю, впрочем, что я ее исправлю. Правда, для этого надо многое, я на многое и надеюсь; но кто знает, не напрасны ли опять будут все мои старания? Ты ведь знаешь мою прошлую жизнь. Мне никогда не выпадало на долю полного, большого успеха, и если мне разрешалось сорвать цветок, то как же бывали при этом исколоты мои руки шипами и крапивой.

И он, как бы желая освистать неблагоприятную судьбу, сложил губы для свиста, и Дафна чувствовала, что тот, за жизненным путем которого она с сердечным участием следила с детства и к которому она уже много лет питала не сестринскую, а другую, более горячую, любовь, нуждался в добром слове участия. Сердце ее сжалось, и ей стоило боль-

шого усилия принять веселый и беззаботный вид, обращаясь к Гермону и одновременно к вернувшемуся Мертилосу:

– Откажитесь от вашего глупого упорства, вы, упрямы, и дайте мне взглянуть на то, что сделали за все это время. Вы дали обещание моему отцу никому не показывать ваших работ до тех пор, пока он лично их не увидит, но, верьте моим словам, будь он здесь, он бы вас освободил от вашего обета и сам бы повел меня посмотреть новейшие произведения вашей музыки. Чувство сострадания заставило бы вас, немилостивых, согласиться на мои просьбы, знай вы, до чего нас, женщин, мучит любопытство. Когда речь идет о предметах для нас безразличных, тогда можно еще сдержат и успокоить это любопытство. Но никак не в этом случае. Пусть то, что я вам скажу, не придаст вам самомнения, которого у вас и без того довольно, но, после отца, вы оба мне дороже всего. И слушайте дальше! Я в качестве жрицы Деметры освобождаю вас от всякого обета, а с этим вместе и от всех могущих быть последствий. Кроме того, отец и дочь, живущие между собой так хорошо, как я с вашим дядей, составляют как бы одно целое. Пойдемте же! Как я ни устала от этой охоты, доставившей мне столько неприятностей, но при виде ваших произведений вернется ко мне в один миг вся моя бодрость, и я буду вам всю жизнь благодарна за то, что вы уступили моим просьбам.

Говоря это, она направилась к белому дому, дружески улыбаясь молодым людям. Казалось, ее последние слова произвели впечатление – они как бы поколебали стойкость художников, и Гермон мысленно задавал себе уже вопрос, не убедили ли доводы Дафны и Мертилоса, но тот, сильно взволнованный, воскликнул:

– Как охотно исполнили бы мы твоё желание, если б это было в нашей власти. Не просто обещание взял с нас твой отец, а клятву и заставил нас ударить по рукам. Он один может позволить нам нарушить обязательство – ему первому показать наши произведения. И только после его осмотра будут они представлены судьям, присуждающим награды.

Дафна принялась вновь горячо убеждать художников уступить ее просьбам. Гермон, видимо, уже склонялся к этому, но белокурый Мертилос сказал тоном решительного отказа:

– Уже ради Гермона я останусь тверд. Пусть никто не судит о наших произведениях, прежде чем заданная нам задача не будет вполне окончена. Я думаю, что каждому из нас будет присуждена награда, почти не сомневаюсь, что я получу ее за мою Деметру.

– Значит, Арахнея удастся лучше Гермону? – спросила с любопытством Дафна.

Мертилос с жаром подтвердил это, а Гермон, волнуясь, произнес:

– Если б я только мог рассчитывать на доброжелательность судей!

– Почему же нет? – прервала его молодая девушка.

– Отец мой справедлив, фараон – беспристрастный знаток и ценитель, а что касается других, то ведь вы вчера еще считали их честными людьми. Твой же товарищ Мертилос так же горячо желает тебе получить награду, как и себе.

– Иначе и не может быть, – сказал Гермон. – Не один кусок хлеба переломили мы друг с другом. А когда шли на конкурс, каждый из нас знал отлично силы другого. Твой отец, который одновременно и владелец ткацких мастерских и хлеботорговец, поручил нам изобразить мирную Деметру, богиню и покровительницу земледелия, мира и браков, и Арахнею, обыкновенную смертную, но самую искусную ткачиху. Та статуя, которую признают лучшей, будет поставлена в Александрии в храме Деметры, к жрицам которого ты принадлежишь, а менее удачная останется для вашего городского дома. Вопрос, чья Деметра будет стоять в храме, для меня уже решен. Мертилос присоединит эту награду к прежде полученным, а мне он будет желать от души получить награду за Арахнею. Во всяком случае, к моим способностям подходит этот сюжет больше, нежели к его таланту, и я почти уверен, что могу выполнить свою задачу. И все же меня сильно заботит приговор судей; ведь вы знаете, что большинству не нравится мое направление. Я и те немногие александрийцы, которые, подобно мне, жертвуют красотой ради правды, все мы ведь плывем против того

течения, которое несет тебя, Мертилоса и ваших единомышленников мирно и спокойно к пристани. Ты, я знаю, поступаешь согласно твоим убеждениям, но ведь ты тоже, подобно нашим судьям, требуешь красоты и только красоты. Прав ли я или нет? Тот, кто отказывается идти по следам, оставленным старыми афинскими мастерами, тот может так же верно ждать осуждения, как пойманный вор или убийца. Я же не хочу быть последователем афинян, хотя признаю их высокие заслуги, потому что хочу стать выше их, примкнув к молодежи.

– Нескончаемый, вечный спор, – сказал Мертилос дружеским тоном, в котором, однако, проскальзывало легкое недовольство. – Ты ведь его знаешь, Дафна! Я же признаю себя последователем Фидия, Поликлета и Мирона и считаю высшим идеалом воплощение идеи в тех пределах правдивости и реальности, какие и они признавали. Гермон же и художники одного с ним направления ищут более доступных и общепонятных идей...

– И мы нашли их, – прервал его с уверенностью Гермон. – Город Александра, выросший с необычайной силой, – их родина. Там, куда каждый народ со всей земли шлет своих представителей, бьется пульс всего света, и там имеет значение только одно – действительная жизнь. Наука задалась целью исследовать эту жизнь во всех ее проявлениях, и выводы, полученные ею в цифрах и измерениях, несравненно ценнее и вернее тех ложных, бесполезных и тщеславных мудрствований, оставленных нам старыми философами. Искусство же, благородная сестра науки, должно идти по тому же пути. Изображать жизнь как она есть, передавать действительность такой, какой она является нашим глазам, а не такой, какой она могла бы быть, или такой, какой она должна быть для того, чтобы угодить жаждущим одной красоты глазам, – вот та задача и цель, которые я себе поставил. Поэтому если вы хотите, чтобы я изображал богов, которых человек представляет себе не иначе, как в своем же образе и подобию, то позвольте же мне изображать их по образу простых смертных, виденных мною в действительности. Я буду брать за образец самых лучших, красивых и благородных, буду придавать им, насколько позволят мои способности и сюжет, движение и внутреннее настроение, но это будут всегда действительные люди с головы до ног. Мы ведь и без того должны сохранять и придавать нашим статуям старинные символы, которых требует заказчик, потому что они служат отличительными признаками, а потому и моя Деметра держит сноп колосьев.

Сильно взволнованный художник, произнес эти слова, бросил на товарища и на девушку как бы вызывающий взгляд.

Но Мертилос произнес спокойным тоном:

– К чему такая горячность? Я, по крайней мере, смотрю на твою работу с большим интересом, признаю и ценю твой талант, пока он не переступил пределов красоты, которые я считаю в то же время пределами искусства...

Тут разговор был прерван. Домоправитель Грасс передал письмо, принесенное скороходом из соседнего Пелусия. Оно было написано Тионой, супругой Филиппоса, начальника сильной пограничной крепости Пелусия. Отец Гермона служил когда-то гиппархом⁵ под началом Филиппоса, и узы самой тесной дружбы связывали его и семью богатого Архисаса с Тионой и ее мужем. Александрийский купец, который, как почти все, очень уважал Филиппоса, бывшего сподвижника Александра Великого, уведомил его о прибытии своей дочери в Теннис, и вот теперь супруга его оповещала Дафну о своем намерении посетить ее. Вечером хотела прибыть она с мужем и несколькими знакомыми в Теннис. Она выражала при этом надежду увидеть и Гермона, сына храброго собрата по оружию ее мужа и ее любимой Эригоны.

Дафна и Мертилос обрадовались этому известию, а Гермону казалось, напротив, это неожиданное посещение пришлось совсем не по душе. Сознывая, что не может ни под каким

⁵ Начальник конницы.

предлогом отказаться присутствовать при приеме гостей, он все же сказал, смущаясь и не объясняя причин, что ему вряд ли удастся провести с Дафной и приезжими весь вечер. Затем быстро направился к белому дому, куда его давно призывали молчаливые, но выразительные знаки его невольника Биаса.

VI

Лишь только Гермон скрылся за дверью, Дафна попросила Мертилоса последовать за ней в ее палатку. Придя туда, она сказала озабоченно:

– В каком он возбужденном состоянии! Пребывание в Теннисе вам, по-видимому, не принесло пользы; ты все кашляешь, а отец так надеялся и рассчитывал на здешний чистый влажный воздух для поправления твоего здоровья; еще большую пользу, думал он, принесет Гермону эта уединенная жизнь в твоём обществе; между тем он более чем когда-либо увлечен враждебным красоте направлением и вдобавок стал таким раздражительным.

– Пусть отец твой удовлетворится тем, какое хорошее действие оказало на меня мое здешнее пребывание. Я ведь знаю, что он думал о моей болезни, когда предложил нам закончить здесь его заказ. Гермон, добрый товарищ, ни за что бы не согласился покинуть свою любезную Александрию и последовать сюда за мной, не думай он этим оказать мне и моему здоровью услугу. И я припишу его поступок к длинному списку моих дружеских по отношению к нему обязательств. Что же касается искусства, то он идет по избранному им самим пути, и всякое вмешательство тут бесполезно и ни к чему не приведет. Он сам признает, что статуя богини для его направления самый неудачный заказ, какой только можно было для него придумать.

– Значит, его Деметра ему совсем не удалась?

– Напротив, – уверял с большим жаром Мертилос, – голова ее принадлежит к его лучшим произведениям. Но зато торс богини возбуждает во мне жестокие сомнения. При его стремлении оставаться верным действительности, при его боязни сделать уступки красоте, он впал в крайность; угловатость и грубость ее форм были бы, по моему мнению, неприятны и у простой смертной. Чувствуется избыток какой-то необузданной силы у этого высококаровитого человека; многое познал он слишком поздно, а другое – слишком рано...

Тут Дафна попросила его объяснить, что подразумевает он под этими словами, и Мертилос ответил:

– Ты ведь знаешь, каким образом он стал скульптором. Твой отец предназначал его в приемники по торговым делам; в Гермоне же все сильнее и сильнее пробуждалось призвание к искусству. Быть может, тому способствовали его посещения моей мастерской. Я рано стал учиться у великого Бриаксиса, тогда как он вынужден был обучаться торговле, но вместо того, чтобы выводить тростником разные деловые счета и письма, он рисовал; посланный в гавань присмотреть за погрузкой корабля, он забывал обо всем, погружаясь там в созерцание статуй; придя на склад, он принимался лепить, не заботясь о товарах, которые должен был там достать. Ты сама знаешь, к какому разрыву это привело и сколько времени прошло, прежде чем Гермону позволили оставить торговлю.

– Мой отец желал ему только добра, – уверяла Дафна, – он был назначен вашим опекуном и должен был заботиться о вашей будущности. Ты богат, ничто не препятствовало тебе сделаться художником, а потому он развивал и поощрял твою склонность к искусству. Гермон не унаследовал от своих родителей даже и драхмы, поэтому отцу моему казалось, что его ожидают тяжелые денежные заботы, если он посвятит свою жизнь скульптуре. Он и хотел сделать своего племянника своим приемником и главой самого большого торгового дома в городе.

– И этим, – прервал ее Мертилос, – упрочить его счастье. Но ведь искусство ни с чем не сравнимо, и в нем заключается какая-то притягательная сила. Я не раз слышал от твоего отца, почему он отказал в поддержке Гермону после его бегства на остров Родос и во время его первых учебных лет, предоставляя ему самому пробивать себе дорогу. Он все надеялся, что нужда заставит его вернуться к нему и предпочесть искусству беззаботную и богатую

жизнь. Но вышло иначе. Я далек от желания упрекать в чем бы то ни было доброго Архиаса, но думаю, что было бы лучше, позволяй он Гермону раньше последовать своему настоящему призванию.

– Так ты думаешь, – спросила с любопытством Дафна, – что он слишком поздно стал учиться?

– Нет, не поздно, однако при его страстном стремлении идти вперед раннее изучение скульптуры было бы для него благоприятнее. Когда его однолетки уже самостоятельно творили, он был еще учеником, и, таким образом, случилось то, что он слишком рано стал самостоятельно работать.

– Ведь ты не станешь отрицать того, что отец, как только первое произведение Гермона показало его способности, стал опять обращаться с ним как с сыном, – сказала Дафна.

– Нисколько не отрицаю, – ответил скульптор. – Я слишком хорошо помню, как Архиас, вероятно и по твоему желанию, принялся осыпать племянника золотом, но этот излишек, к несчастью, послужил ему во вред.

– А ты? – спросила Дафна. – Ведь ты уже и тогда владел богатым наследством твоих родителей и, несмотря на это, работал даже сверх твоих сил. Я ведь слышала, как Бриаксис, расточая тебе похвалы, все же просил отца употребить свое влияние, как опекуна, и предостеречь тебя от опасности такой усиленной работы.

– Мой добрый учитель, – произнес с волнением Мертилос, – он заботился обо мне, как отец.

– Потому что он предвидел, что ты предназначен создать великое.

– Или же потому, что от его зорких очей не скрылось, что я должен беречь свое здоровье. Мои легкие, Дафна, мои легкие! Ты ведь знаешь, какой роковой была эта болезнь для моей матери, а потом и для моих сестер и брата. Все они рано сошли в могилу, и, когда кашель потрясает мою грудь, я вижу, как Харон поднимает свои весла и приглашает меня занять место в его мрачной ладье.

– Ведь ты только что уверял меня, что ты чувствуешь себя хорошо, – заметила девушка, – кашель твой меня, впрочем, беспокоит, но если б мог сам видеть, как порозовели твои щеки от этого чистого воздуха.

– Эта краснота, – ответил серьезно Мертилос, – и есть догорающая вечерняя заря закатывающегося жизненного дня, а не утренняя заря выздоровления. Но не будем об этом говорить; я ведь коснулся этих печальных предметов только для того, чтобы защитить себя от твоих похвал, которые ты расточаешь мне в ущерб Гермону. Это правда, что я был богат, будучи еще учеником, но ранняя смерть всех моих близких научила меня уже тогда беречь и разумно распорядиться кратким жизненным сроком, предназначенным мне судьбой. Гермон же был полон мужественной силы и между эфебами на ристалище считался сильнейшим. После трех ночей, проведенных в кутеже, он не чувствовал даже утомления, и как мешали женщины этому чернобородому красавцу вовремя приниматься за работу! Задавала ли ты себе когда-либо вопрос, почему молодых лошадей объезжают не на покрытом цветами и травой лугу, а на песчаной площади? Ничто из того, что отвлекало бы их внимание и возбуждало бы их желание, не должно их окружать, а золото твоего отца еще до конца учения окружало Гермона всякими соблазнами. Честь и слава красивому пылкому юноше, что, несмотря на все, он только на короткое время позволил себя отвлечь от работы и вновь принялся за нее энергично, сначала окруженный роскошью и избытком, а потом нуждой и лишениями.

– О Мертилос! – воскликнула молодая девушка. – Как страшно страдала я тогда! Боги впервые дали мне познать, что в человеческой душе, кроме солнечного сияния, находятся и черные тучи. В продолжение нескольких недель отделяла меня от отца глубокая пропасть; а ведь до того времени мы составляли с ним одну душу, одно сердце. Но таким, как тогда, я его еще никогда в жизни не видела. Тебе был присужден первый приз за твою прекрасную,

сияющую красотой Афродиту, и твое чело было уже увенчано лаврами за твою статую Александра, когда Гермон выступил со своими произведениями. Это были его первые работы, и они должны были показать, что признает он настоящей задачей искусства. Произведения, которые он выставил, как ты знаешь, были: некрасивый «Глашатай» со шкурами в руках и открытым ртом, как бы расхваливающий свой товар, и «Борющиеся менады»⁶. Ты видел этих ужасных женщин, с чисто животной свирепостью набрасывающихся друг на друга и старающихся растерзать одна другую. Глядя на эти плоды труда и прилежания близкого мне человека, я испытывала сильное горе, и я не могла тогда понять, что ты и другие находят в них что-то хорошее. А отец! Вид этих страшных вещей заставил побелеть его щеки и губы, и, вероятно, считая себя вправе, как опекун, и в искусстве указывать своему воспитаннику прямой путь, он запретил ему тратить время на изображение таких ужасных сюжетов и тем, вместо радости, довольства и возвышенного чувства, вызывать только отвращение и ужас. Ты ведь знаешь последствия всего этого, но не знаешь, что перенесло мое сердце, когда Гермон, вне себя, оскорбленный в своем самолюбии, отвернулся от отца и порвал все узы, соединявшие нас с ним. И все же, несмотря на свое страшное недовольство и несмотря на необузданную вспыльчивость, выказанную племянником по отношению к дяде, мой отец и не думал отнимать у него денежную поддержку, но Гермон не показывался больше у нас и, когда я его призвала к себе, чтобы образумить, объявил мне решительно, что он отныне не возьмет и обола от отца, потому что он скорее согласится умереть с голоду, нежели позволит кому бы то ни было вмешиваться в выбор его сюжетов. Свобода ему дороже всего золота моего отца! Отец все же выслал ему годовое содержание.

– Но он отказался от него, – заметил Мертинос. – Я отлично помню этот день и как я его уговаривал; когда же он настоял на своем отказе, я предложил принять от меня то, что ему нужно для жизни. Но и это он отверг твердо и решительно, хотя я уже тогда считал себя его неоплатным должником и знал, что мой долг нельзя уплатить презренными деньгами.

– Ты, вероятно, говоришь о той преданности, с которой он ухаживал за тобой, когда ты был так болен? – спросила Дафна.

– Да, но не о ней одной, – ответил он. – Ты ведь не знаешь, чем он был для меня в самые тяжелые дни. Кто после моего первого успеха, когда низкая зависть старалась отравить мне всю радость, радовался со мной, точно лавры выпали на его долю, а не на мою? Конечно, то был он, мой честолубивый Гермон, хотя его собственные произведения не удостоились награды. А когда вслед за тем моя обычная болезнь овладела мной сильнее, чем когда-либо, он стал за мной ухаживать, подобно любящему брату. Как часто он, прежде проводивший дни и ночи в кутежах и веселье, отказывался от них, покидал пиршества, чтобы заботиться обо мне, поддерживать мое бессильное тело, сидеть у моего ложа до тех пор, пока не заалееет восток. Не раз, увенчав уже свою голову цветами для какого-нибудь веселого праздника, снимал он венок и посвящал всю ночь другу, не желая поручать уход за ним одним рабам. Ему да искусству и заботам великого врача Эризистратоса обязан я тем, что теперь стою пред тобой и могу рассказать тебе все то, что сделал для меня Гермон. Одно считаю я с его стороны несправедливым, это то, что он не захотел в трудные для него дни братски делиться со мной, и этого я ему до сего дня не прощаю. Но отказом его руководило упорное желание доказать мне, твоему отцу, тебе и всему миру, что он твердо стоит на своих ногах и не нуждается в помощи ни людей, ни богов. Так же упорно отказывался он во время работы от моих советов и помощи, хотя мне муза даровала многое, чего у него, к несчастью, не хватает. Как бы твердо я ни был уверен в том, что ему когда-нибудь удастся создать великое,

⁶ Менады (греч. «безумствующие») – спутницы греческого бога виноградарства и виноделия Диониса, именуемого также Вакхом, поэтому менад называли вакханками. Во время культовых шествий Диониса менады в шкурах пятнистого оленя, размахивая факелами, изображали свиту бога и в безумном танце устремлялись через леса и поля.

даже мощное, но ему, неверующему ученику Стратона⁷, не хватает понимания благородства и необычайного величия божественного существа; он не может передать женской чарующей прелести и грации. Ему удалось это выразить только в одном произведении – в твоём бюсте.

Щеки Дафны покрылись ярким румянцем; чувствуя это, она закрыла лицо опашалом и с принужденным спокойствием произнесла:

– С самого раннего детства мы были хорошими товарищами, и притом как же мало во мне женской прелести.

– Я же скажу, что ты обладаешь необыкновенной, обаятельной прелестью, – ответил решительно Мертинос. – Я совсем не хочу тебе льстить, ты прекрасно знаешь, что я не причисляю тебя к красавицам Александрии. Вместо тонких правильных черт, какие нужны для художников, боги дали тебе лицо, пленяющее все сердца, даже и женские, потому что в нем отражаются, как в зеркале, истинная, готовая всем помочь женская доброта, честные убеждения, здоровый восприимчивый ум. Передать такое чарующее лицо очень трудно, и Гермону, повторяю, это удалось. Ты же одна из всех женщин внушаешь ему, лишившемуся рано матери, уважение, и к тебе питает он более серьезное чувство, чем к кому бы то ни было. Впрочем, он тебе и обязан многим. Когда он так внезапно порвал крепкие узы, связывающие его с дядей, не ты ли их связала вновь! И мне кажется, они теперь прочнее, чем когда-либо, и я не знаю, что могло бы теперь заставить его отречься от тебя. Честь и слава твоему отцу, который вместо того, чтобы продолжать сердиться на этого упряма, отнесся еще теплее к нему и задал нам две задачи, исполнение которых позволит каждому из нас выказать свои способности с лучшей стороны. И если я не ошибаюсь, то мы обязаны этим заказом дочери Архиаса.

– Понятно, что отец, – сказала Дафна, – обсуждал со мной свое намерение, но он сам напал на эту мысль, и она всецело принадлежит ему. Статуя Гермона «Уличный мальчишка утоляет свой голод винными ягодами», хотя и не вполне во вкусе отца, понравилась ему все же больше первых произведений, и я согласна с Эвфранором, что фигура мальчика поразительно правдива. Отец это понял. Кроме того, он прежде всего купец, и деньги, которые он заработал, ценит он высоко; то, что Гермон отказался от его золота, поразило его, а стойкость, с которой Гермон, несмотря на кутежи, неудачу в работе и нужду, сохранил честность и благородство, унаследованные им от храброго отца, были также оценены стариком, и дело Гермона было выиграно.

– А что случилось бы с ним в прошлом году без твоей поддержки и участия, после оскорбительного отказа принять его статую «Счастливого возвращение», заказанную для гавани Эвнosta⁸?

– Отказ был совсем несправедлив! – вскричала Дафна. – Мать, открывающая свои объятия возвращающемуся сыну, – правда, некрасива, и мне она также не нравилась, но юноша, с посохом в руке, полон силы, и движения его выразительны и правдивы.

– Это мнение, – сказал Мертинос, – как ты уже знаешь, разделяю и я. Трогательное выражение должно было заменить красоту матери, а для юноши, как и для уличного мальчика, взял он подходящую натуру прямо из жизни. Правда, для изображения Деметры у него есть самое лучшее, что только можно желать.

Тут он в замешательстве остановился. Дафна стала требовать, чтобы он ей сказал, на что он намекает, говоря, что раз начал, то должен и закончить.

Снисходительно улыбаясь, он продолжал:

⁷ Родом из Лампсака, ученик Аристотеля, оставил многочисленные сочинения по философии и естественным наукам; один из духовных отцов Мусеиона.

⁸ Гавань Эвнosta – то есть гавань «счастливого возвращения» – западная часть большой александрийской гавани.

– Вижу, что мне не остается ничего больше, как выболтать все, чем мы тебя хотели поразить. Уже в Александрии, когда мы принялись за моделировку головы богини, перед моими и его очами стоял твой прелестный облик, одинаково дорогой и близкий нам обоим.

Обрадованная Дафна протянула художнику руку и воскликнула:

– Как мне приятно это слышать, какие вы добрые друзья! Но каким образом это могло быть, ведь я не позировала вам для вашей богини.

– Гермон тогда только что окончил твой бюст, а мне ты позволила вылепить твою голову для моей «Богини Мира», которая потонула вместе с кораблем на пути в Остию. Мы сделали три-четыре повторения, да притом образ твой запечатлелся в нашей душе. Когда настанет время показать тебе наши работы, ты сама поразишься, до чего различно могут два человека видеть и воспроизводить одно и то же.

Дафна с несвойственной ей живостью произнесла:

– Теперь, когда я так много знаю и принимаю такое близкое участие в ваших произведениях, я решительно настаиваю на том, чтобы видеть ваши работы. Передай это от меня Гермону и напости ему, что я, уже ради наших гостей из Пелусия, ожидаю его к вечернему столу. Пригрози ему моим гневом, если он будет настаивать на своем намерении рано покинуть наш пир.

– Я не премину исполнить последнее твое поручение, – отвечал Мертинос. – Что же касается твоего желания уже теперь увидеть наши статуи Деметры, то...

– Ну, мы об этом поговорим, когда останемся опять втроем.

Говоря это, она простилась с художником, но едва сделал он несколько шагов к выходу, как она его остановила вопросом:

– Скажи мне, не обманывает ли сам себя Гермон, когда с такой уверенностью говорит, что статуя ткачихи Арахнеи ему вполне удастся?

– Едва ли он обманывается, в особенности если намеченная им модель согласится ему позировать для этой статуи.

– Красива ли она и нашел ли он ее здесь, в Теннисе? – спросила Дафна, стараясь при этом принять равнодушный вид.

Но Мертинос, поняв ее намерение, весело сказал:

– Так выспрашивают только у маленьких детей. До свидания, прекрасная любопытная, до вечера.

VII

Невольник Биас не сопровождал своего господина на охоту. Египетский страж, отводящий его ребенком на невольничий рынок, пробил ему ногу, и с тех пор легкая хромота делала его непригодным для охоты, но она ему нисколько не мешала исполнять всевозможные работы по дому и стать необходимым его господину. Сегодня до восхода солнца он приготовил ему все необходимое для охоты на птиц. Когда лодки с охотниками отплыли, вышел и он из дому. Маленькая собака, из породы такс, принадлежащая старому привратнику, нубийцу, по всегдашней привычке громко лая, выбежала вперед и вспугнула целую стаю воробьев. Из-под ног Биаса взлетели они и в тревожном беспорядке закружились в воздухе.

Невольник увидел в этом несомненное предзнаменование, и, видя выходящую из палатки Стефаниону, прислужницу Дафны, поседевшую на службе в доме Архиаса и отпущенную им на волю, он произнес греческое приветствие: «Радуйся!» – и, указывая на воробьев, продолжал:

– Смотри, как они летают, кружатся, обгоняют друг друга, пищат и чирикают. Помяни мое слово – нам предстоит тревожный день.

Такое значение, приданное Биасом невинной птичьей тревоге, показалось вполне правильным Стефанионе, которая высоко ценила его мудрость. Она была рада встрече с ним и возможности поболтать часочек, тем более что привезла с собой из Александрии много новостей. В виде предисловия рассказала она ему о браках и смертях в кругу их знакомых, вольных и рабов. Затем поведала она Биасу причину, заставившую Дафну, покидавшую до сих пор отца лишь на несколько часов, приехать сюда. Архиас сам послал ее сюда после того, как молодой Филиппос, один из поклонников Дафны, рассказал о богатой добыче, привезенной его приятелем с охоты на птиц близ Тенниса, причем Дафна выразила желание опорожнить там свой колчан. Правда, Филиппос с жаром предложил себя в руководители охотой, но Дафна решительно отвергла его предложение, потому что, как уверяла старая прислужница, более, чем охота, привлекала сюда молодую девушку возможность встречи с двоюродными братьями – скульпторами. Это и высказала ее госпожа вполне откровенно, а отец был уже и тем доволен, что у нее появилось какое бы то ни было желание, потому что Дафна за последнее время сделалась такая равнодушная ко всему на свете, замкнутая и грустная, что она, Стефаниона, стала опасаться за нее. При этом она употребляла все старание скрыть от отца свое настроение, но разве могло что-либо укрыться от проницательности господина! Ничто не должно было препятствовать ее желанию отправиться в путь, и уже теперь молодая девушка как бы переродилась. И это сделало только одно свидание с двоюродными братьями, но задай ей, старой служанке, кто-либо вопрос, кому Дафна отдаст предпочтение, Мертилосу или Гермону, она бы затруднилась дать верный ответ.

– Осторожно собранные сведения избавляют нас от ошибок, – глубокомысленно отвечал Биас. – Впрочем, в данном случае ты можешь довериться моей опытности: это – Мертилос. Слава всегда пробуждает любовь, и лавры, в которых свет отказывает моему господину, несмотря на его дарование, давно достались Мертилосу. Затем, хотя мы и не нуждаемся, но Мертилос богат, подобно царю индийскому. Я не хочу этим сказать, чтобы Дафна, которая сама утопала в золоте, искала богатства, но кто знаком с жизнью, тот знает, что, где уже сидят голуби, туда прилетают еще голуби, – деньги притягивают деньги.

Стефаниона была другого мнения, она основывалась не на том только, что ее госпожа чаще говорила о чернобородом, нежели о белокуром, а скорее на том, что хорошо знала молодых девушек и редко ошибалась в сердечных вопросах. Что Дафна и к Мертилосу расположена, этого она и не хочет отрицать. Но в конце концов она не будет невестой ни того

ни другого, а достанется Филиппосу, царскому родственнику, красивому, статному юноше. При этом же и отец ее отдает ему предпочтение перед всеми женихами, окружающими ее, точно мухи мед. В другом доме давно приняли бы предложение Филиппоса, потому что кому в Александрии пришло бы в голову спрашивать согласие дочери, когда выбор будущего мужа сделан уже отцом. Но Архиас такой же редкий отец, как белый ворон редкая птица, он никогда не будет принуждать свое единственное дитя. Но любовь и брак – две совершенно различные вещи. Будь за Эросом последнее слово, кто знает, не пал ли бы выбор Дафны на кого-нибудь из художников. Тут ее прервал недовольный возглас Биаса:

– Что за противоречия! «Женский волос долог, да ум короток», – говорит пословица.

Выжидание – мудрое правило для купца, говорил не раз твой господин, а следовать словам умных людей самое лучшее для менее умных. Я пока такого мнения: Дафна, как и все вы, прежде всего женщина, и ее загнало сюда любопытство. Она хочет видеть статуи Деметры, которые заказал нам ее отец.

– А Арахнею? – любопытствовала прислужница.

Этот вопрос как нельзя более был кстати для Биаса, он часто слышал, как художники упоминали об этой Арахнее, и его самолюбие страдало от сознания, что, кроме имени, означающего по-гречески «паук», он не имел о ней никаких сведений. Между тем что-нибудь да было связано с этой Арахнеей, статую которой Архиас желал поставить в своем доме в Александрии и в большой ткацкой в Теннисе рядом со статуей Деметры. Ведь для этой же самой Арахнеи должна была служить моделью, как того желал его господин, биамитянка Ледша. Стефаниона – родом гречанка и выросла в Македонии: ей должно быть все известно о ней. Осторожно он направил разговор на эту тему и добавил, что очень хотел бы знать, в каком виде изобразят скульпторы эту Арахнею.

– Моя госпожа, – ответила прислужница, – а с ней вместе и Архиас уже не раз ломали себе головы над этим вопросом. Быть может, они изобразят ее за работой в доме ее отца Идмона, красильщика из Колофона.

– Никогда, – возразил Биас презрительно, – представь себе только, на что будет похож ткацкий станок из золота и кости.

– Да ведь я это только так говорю, – извинилась за свое невежество Стефаниона. – Дафна того мнения, что они оба изобразят ее совершенно различно. Мертиλος представит ее, вероятно, в тот момент, когда она с гордостью показывает только что законченную тончайшую ткань своей работы посетившим ее нимфам Пактола и других вод близ Колофона. Гермон же предпочтет изобразить ее после того, как она навлекла на себя гнев Афины, осмелившись выткать ковры с изображениями любовных походов богов с простыми смертными.

– Например, как Зевс-громовержец в образе лебедя соблазняет Леду, – перебил ее Биас, – как он, превратившись в быка, уводит Европу, или как целомудренная Артемида склоняется над спящим Эндимионом⁹.

– Как это всем вам, мужчинам, нравится, – сказала прислужница, слегка ударяя его метелкой, которую держала в руках, – но можно ли осуждать Афины за то, что она воспылала гневом против Арахнеи, простой смертной, выставившей таким образом на посмеяние поступки ее божественной родни?

– Понятно нельзя, – ответил Биас.

А Стефаниона продолжала:

⁹ Эндимион – в греческих сказаниях прекрасный возлюбленный Артемиды, которого эта богиня погрузила в непробудный сон, чтобы тайно целовать его.

– Когда же мудрая Афина, изобретательница ткацкого станка и покровительница ткачих, снизошла до состязания с Арахнеей и та победила, гнев богини не знал предела, и что же удивительного, что она ударила дерзкую победительницу ткацким челноком по лбу.

– Вот этот-то именно поступок, да простит меня мудрая богиня, никогда мне, глупому, не нравился. Даже простой смертный, побежденный в честном бою, не должен сердиться на победителя; так, по крайней мере, учили меня с детства. Помня те камни, которыми закидали статую моего господина «Борющиеся менады», я знаю, что ничто не может быть менее пригодно для изображения, чем две женщины, из которых одна бьет другую.

– По-моему, изображение Арахнеи, когда она, оскорбленная этим ударом, вешается, произведет еще более отталкивающее впечатление. Но легче представить, как Афина освобождает ее из петли, нежели то, как она в наказание за дерзость превращает Арахнею в паука.

– Дабы ей до конца дней можно было ткать самые искусные ткани, – сказал Биас важным тоном. – Со времени этого превращения паук называется у греков Арахнеей. Я же часто думаю о том, что Гермона изобразит ее свивающей веревку, на которой она повесится. Ты ведь видела многие из наших произведений и знаешь, что мы любим все ужасное.

– О, пусти меня в ваши мастерские, – стала просить Стефаниона так же настойчиво, как и ее молодая госпожа, но и ей пришлось отказаться от своего желания.

Господа, уверял совершенно правдиво Биас, тщательно запирают мастерские. В них так же трудно проникнуть, как в сильно укрепленную крепость, но это делается не с целью защитить себя от любопытных, которых здесь мало, а для того, чтобы оградить себя от воровских попыток. Статуи, по желанию Архиаса, должны быть из золота и слоновой кости. Большие запасы этих дорогих материалов могут ввести в соблазн обыкновенно честных и скромных египтян. А потому нечего было и думать туда попасть, не говоря уже о том, что Биасу было запрещено, под угрозой продать его в каменоломни, без разрешения господина впускать кого бы то ни было в мастерскую. Стефанионе пришлось отказаться от своего намерения, тем более что ее позвала молодая невольница, говоря, что ее услуги нужны компаньонке Дафны, Хрисилле, почтенной матроне знатного греческого рода, не принимавшей участия в охоте. Довольный тем, что он, не обнаружив своего невежества, узнал все то, что ему нужно было об Арахнее, Биас удалился в белый дом, где и пробыл до возвращения охотников. Во время осмотра Дафной добычи и ее разговора с художниками невольник вышел также на площадь перед домом, но ему пришлось отказаться от намерения подслушать разговор Дафны с его господином: после первых слов, сказанных ею, он заметил за деревьями в саду биамитянку Ледшу. Итак, она сдержала слово и пришла.

Он узнал ее, несмотря на покрывало, закрывающее ей голову и часть лица. Как сверкали ее черные глаза и каким мрачным огнем они горели, когда она смотрела то на Дафну, то на Гермона, разговаривающих у входа в белый дом. Вчера вечером он впервые заглянул в взволнованную душу этого страстного создания, и он уверен, что, если здесь она заметит что-либо, что может ее рассердить или показаться ей обидным, она, способная на все, в состоянии позволить себе всякую выходку перед гостями его господина. Помешать этому было его прямой обязанностью уже ради его повелителя. Вчера еще предостерегал он Ледшу от него не потому только, что ему было неприятно видеть, как Ледшу, свободную биамитянку, ставили на одну ступень с продажными натурщицами из Александрии, а еще и потому, что он знал, к каким печальным последствиям приведет любовная связь его господина с египтянкой. Он ведь прекрасно знал, что свободные биамиты не оставят безнаказанным грека, соблаздившего одну из дочерей их рода. Хотя рабство не прошло для него бесследно и наградило его многими недостатками раба, но он был верен своему господину, к которому питал большую благодарность за то, что Гермона во время разрыва с дядей, страшно нуждаясь, ни за что не соглашался расстаться со своим верным и мудрым Биасом, как он его назы-

вал, несмотря на то что ему предлагали высокую цену за него. Невольник поклялся никогда не забывать этого и держал свою клятву.

На обширной площади перед домом было оживленное движение: отпущенники и рабы ходили взад и вперед; собаки лаяли; раздавались громкие крики продавцов фруктов, зелени и рыб, желавших обратить на свой товар внимание поваров. Поэтому на одинокую закутанную женскую фигуру никто не обращал внимания, но Биас зорко за ней следил. Когда же она приставила ко лбу свою руку, защищая глаза от ослепляющих солнечных лучей и поставила одну ногу на камень как бы для того, чтобы лучше рассмотреть происходившее перед ней, невольно вспомнил он только что слышанный рассказ о ткачихе Арахнее. И каким-то воплощением большой беды показалась ему Ледша, а когда она подняла и другую руку, он испуганно вздрогнул – ему показалось, как будто он видит перед собой громадного паука, протягивающего свои тонкие ноги, чтобы привлечь его к себе, опутать его паутиной и высосать всю его кровь. Несколько мгновений продолжалось это видение. Когда оно рассеялось и он увидел опять перед собой стройную, закутанную покрывалом биамитянку, он, глубоко вздохнув, покачал головой; ему еще никогда наяву и при солнечном свете не грезилось ничего подобного. Это видение было, вероятно, ему послано богами для того, чтобы предостеречь его господина от этой женщины. И во всяком случае оно предсказывало несчастье. Биамитянка сделала несколько шагов по направлению к Дафне и Гермону, но Биас, быстро покинув свой наблюдательный пост, загородил ей дорогу. Кратко сказав ей: «Идем!», он взял ее за руку и прошептал:

– Гермон радуется твоему посещению.

Рот Ледши был закрыт покрывалом, но ему показалось, что какая-то насмешливая улыбка искривила ее губы. Она молча последовала за ним. Сначала вел он ее за руку, но пальцы ее показались ему необычайно холодными и цепкими, и он, содрогаясь, выпустил ее руку. Она, казалось, ничего не замечала и шла возле него с поникшей головой. Они прошли в боковой вход и достигли дверей мастерской Гермона. Видя ее запертой, Ледша стала осыпать Биаса резкими упреками. Не обращая на них никакого внимания, он повел ее в жилые помещения художника и попросил там подождать. Затем он поспешил к ступеням главного входа и оттуда стал подавать знаки своему господину, желая привлечь его внимание. Гермон заметил его и подошел к нему. Биас сообщил ему, кто желает его видеть и куда он провел Ледшу; он не скрыл от него, как она ему в мимолетном видении показалась громадным пауком. Гермон тихо засмеялся.

– Так, значит, в образе паука. Что ж, пусть это будет предзнаменованием. Мы сделаем из нее госпожу паучиху Арахнею, которую не стыдно будет показать всему свету. Но эта необыкновенная красавица принадлежит к самым упрямым особам ее рода, и, если я ей прощу ее дерзкое посещение среди белого дня, она скоро сядет мне на голову. Сначала надо обмыть кровь с моей руки; раненый морской орел своими когтями разорвал мне на ней кожу. Я скрыл от Дафны эту царапину. Подай мне полоску полотна, чтобы перевязать. А пока пускай наша нетерпеливая самовольница узнает, что одного ее жеста недостаточно, чтобы перед ней раскрывались все двери.

Он вошел в свое помещение, холодно приветствовал Ледшу, попросил ее пройти в мастерскую, открыв ее, и, оставив там девушку одну, вернулся с Биасом в свою комнату, где спокойно и не торопясь стал перевязывать свою легкую рану. Пока невольник помогал своему господину, он повторил ему еще раз свои предостережения против Ледши, говоря, что уже ее сросшиеся густые черные брови указывают на то, что ею овладели духи ада.

– Эти-то брови как раз и увеличивают строгую красоту ее лица, – возразил художник. – Я на них больше всего и обращаю внимания, когда буду ее лепить. Арахнея в тот момент, когда богиня превращает ее в паука! Какой сюжет! Вряд ли кто изберет такой смелый. И я, вроде тебя, вижу ее уже передо мной, превращающейся в паука.

Не спеша сменил он свой охотничий хитон на белую хламиду, которая очень шла к его волнистой черной бороде, и весело сказал Биасу:

– Если я останусь здесь еще дольше, она не только превратится в паука, но, пожалуй, совсем испортится.

И, говоря это, он пошел в свою мастерскую.

VIII

Ледша в мастерской воспользовалась своим одиночеством, чтобы удовлетворить свое любопытство. Чего только там не было, чего только нельзя было там увидеть! На пьедесталах и на полу, на шкафах и полках стояли, лежали и висели всевозможные предметы. Гипсовые слепки различных частей человеческого тела, мужские и женские фигуры из глины и воска, увядшие венки, всевозможные инструменты скульпторов, лестницы, вазы, кубки, кувшины для вина и воды, подставка, с которой свисали богатыми складками мягкие шерстяные ткани, лютня, кресла, а в углу столик с тремя свитками папируса, восковыми дощечками и тростниковыми перьями. Было бы трудно перечислить все предметы, находившиеся в этом помещении, таком обширном, что оно нисколько не казалось заставленным или переполненным. Ледша бросала удивленные взгляды то на один, то на другой предмет, не понимая хорошенько, что они означают и для чего они могли служить. Высокий предмет на высоком постаменте посреди мастерской, на который падал яркий свет из открытого окна, был, вероятно, образом богини, но большое серое покрывало скрывало его от ее взоров. Какой высокой была эта статуя! Ледша почувствовала себя в сравнении с ней маленькой и как бы приниженной. Страстное желание поднять покрывало овладело ею, но она не могла решиться на такой смелый поступок.

При вторичном осмотре всех закоулков этой обширной мастерской, которую девушка видела первый раз при дневном свете, ее охватило какое-то мучительное сознание того, что ей оказывают невнимание, даже пренебрежение. Она невольно стиснула зубы, и, когда приближающийся шум шагов замер в отдалении, обманув ее ожидания, она подошла к статуе и нетерпеливым движением отдернула покрывало. Местами сияя ослепительной белизной слоновой кости, местами сверкая золотом, предстала перед ее глазами освещенная солнцем богиня. Такой статуи она еще никогда не видала и, пораженная, сделала несколько шагов назад. Каким великим мастером был тот, кто смутил ее доверчивое сердце! Созданная им богиня была Деметра; сноп колосьев в ее руках указывал на это.

Какое прекрасное произведение и какое драгоценное, как сильно оно подействовало на нее, не привыкшую к такому зрелищу!

То, что теперь перед ней стояло, была та же богиня, статуя которой возвышалась в храме Деметры, здесь в Теннисе, и которой она вместе с греками не раз приносила жертвы, когда опасность угрожала жатве, и, невольно освободив свое лицо от покрывала, простерла руку к богине, произнося слова молитвы. При этом она смотрела прямо на бледное лицо богини, и вдруг вся кровь прилила к ее щекам, ноздри ее тонкого носа слегка задрожали, она узнала в этом лице черты знатной александрийки. Ведь она не может ошибаться, она только что внимательно осматривала ту, в угоду которой Гермон ей вчера изменил. Теперь вспомнила она также, что ее сестра Таус и Гула по настоянию Гермона позировали для статуй. С возрастающим волнением сдернула она покрывало со стоящего подле богини бюста. Опять голова александрийки, еще более похожая, нежели голова Деметры. Одна только гречанка занимает его мысли; он не вылепил головы биамитянок. И что значат они, да и она, для Гермона, когда он любит эту богатую чужестранку и только ее одну! Как сильно и глубоко должен был запечатлеться ее образ в душе его, если он мог передать так живо и похоже черты отсутствующей. А ведь с какой дерзостью уверял он ее, Ледшу, что только ей одной принадлежит его сердце. Но теперь она поняла, чего он хотел этим достичь. Если Биас прав, то цель его была уговорить ее позволить вылепить ее фигуру, а не лицо и голову, красоту которых он так восхвалял. Такими же льстивыми словами увлек он Гулу и ее сестру. Обещал ли он им также вылепить с них образ богини? Быстрое биение ее взволнованного сердца мешало ей спокойно думать; его сильные удары напоминали ей цель ее посещения. Она пришла, чтобы

выяснить все между ними; она хотела узнать, обманул ли он ее и изменил ли ей. Как судья, стояла она здесь; он должен был высказать ей, чего он от нее добивается. Последующие минуты должны были решить ее судьбу и, добавила она мысленно с угрозой, быть может и его. Внезапно вздрогнув, отпрянула она назад. Она не слыхала, как он вошел в мастерскую, и его приветствие испугало ее. Оно звучало довольно ласково, хотя не походило на приветствие влюбленного. Его рассердила та смелость, с какой она решилась без его позволения снять покрывало с его произведений; но, не решаясь явно высказать ей свое неудовольствие, он сказал насмешливо:

– Ты, кажется, чувствуешь себя здесь совсем как дома, прекрасная из прекраснейших. Или, быть может, богиня сама сбросила с себя покрывало, чтобы показаться ее будущей заместительнице на этом пьедестале?

Этот вопрос остался без ответа. Негодование и страх хотя бы на миг позабыть цель своего прихода помешали ей даже вникнуть в его смысл. Указывая своим тонким длинным пальцем на статую, она спросила его, чье это изображение.

– Богини Деметры, – отвечал он, – или, если ты хочешь и, как, кажется, ты уже сама узнала, дочери Архиаса.

Сердитый взгляд, который она бросила на него при этих словах, рассердил его, и он добавил строго:

– У нее прекрасное сердце; она не находит удовольствия мучить тех, кто желает ей добра, а потому я придал богине ее приятные черты.

– Ты хочешь этим сказать, что мои не годились бы для этой цели. Но они ведь могут изменять свое выражение; кажется, ты уже не раз это видел. Единственно, на что мое лицо неспособно и чему я сама никогда не научусь, даже в моих отношениях с тобой, это – искусно притворяться.

Он спросил довольно нежно:

– Ты, кажется, все еще сердишься на меня за то, что я вчера не сдержал своего обещания, – и при этом взял ее руку.

Она быстро отдернула ее и вскричала:

– Ты мне велел передать, что дочь богача Архиаса удерживает тебя вдали от меня, и ты думал, что я, как дочь варвара, должна этим удовлетвориться.

– Какие пустяки! – сказал он недовольным тоном. – Ее отцу, моему бывшему опекуну, я обязан многим, а принимать гостей с почетом требуют и ваши обычаи. Но твое упорство и ревность просто невыносимы. Чего я требую от твоей любви – только немного терпения. Подожди, наступит твоя очередь.

– Да, я знаю, что после первой наступает черед второй и третьей. После Гулы заманил ты мою младшую сестру, Таус, в эту мастерскую. Или, быть может, я путаю, и Гула была второй?

– А, так вот в чем дело! – вскричал Гермон более удивленный, нежели испуганный разоблачением этой тайны. – Если ты желаешь, чтобы я подтвердил это, так изволь: они обе были здесь.

– Потому что ты их завлек твоими фальшивыми любовными клятвами.

– Не правда, эти посещения не имели ничего общего с моими сердечными делами. Гула пришла меня благодарить за оказанную ей услугу; ты ведь ее знаешь, а матери такая услуга кажется всегда очень важной.

– Но ты сам ее высоко ценил, потому что потребовал за нее ее честь.

Рассерженный художник сказал запальчиво:

– Придержи свой язык! Незваной пришла ко мне эта женщина и такой же верной или неверной мужу ушла она, как и пришла. Если я и воспользовался ей как моделью...

– Гула – жена корабельщика, – прервала его насмешливо Ледша, – превращенная скульптором в богиню!

– В торговку рыбами, если ты уж хочешь знать. Я видел на базаре молодую женщину, предлагающую сомов; мне понравился такой сюжет для статуи, и в Гуле я нашел подходящую модель. К сожалению, она лишь изредка решалась приходить, и я мог только вылепить эскиз, вот он стоит там в шкафу.

– Торговки рыбами? – повторила Ледша презрительно. – А для чего пригодилась тебе моя Таус, это бедное дитя?

Он, как бы желая скорее избавиться от этого вопроса, быстро проговорил, указывая рукой на место перед окном:

– Здесь в жаркие дни сбрасывали молодые девушки свои сандалии и ходили по воде. Я увидел ноги твоей сестры; они были самые красивые, и Гула привела мне девушку в мастерскую. Еще в Александрии начал я статую молодой девушки, держащей в руке ногу и вытаскивающей занозу; вот для нее-то мне была нужна твоя сестра.

– А когда очередь дойдет до меня? – пожелала узнать Ледша.

– Тогда, – отвечал он, вновь подпадая под власть ее необычайной красоты и придавая своему голосу дружеское, почти нежное выражение, – тогда вылеплю я по твоему образу прекрасное создание, достойный торс для статуи этой богини.

– И тебе будет нужно много времени для этого?

– Чем чаще ты будешь приходить, тем скорее пойдет работа.

– И тем вернее будут указывать на меня пальцами биамиты.

– Однако ты решилась же сегодня прийти незваная сюда при ярком дневном свете.

– Потому что я лично хотела тебе напомнить, что я жду тебя сегодня вечером. Вчера ты не пришел, но сегодня... не правда ли?.. ты придешь.

– С радостью, если только будет малейшая возможность.

Нежный взгляд ее темных очей встретился с его взором; он протянул к ней руку, нежно произнося ее имя; она бросилась в его объятия и страстным движением обвила своими прекрасными руками его шею, но, когда его губы коснулись ее щеки, она вздрогнула и быстро высвободилась из его объятий.

– Что это значит? – удивленно спросил он, стараясь привлечь ее к себе.

Она стала просить его нежным мягким голосом:

– Нет, не теперь, но, не правда ли, дорогой мой, я буду ждать тебя сегодня вечером? Только на один этот вечер оставь дочь Архиаса ради меня, которая тебя больше любит. Сегодня ночью будет полнолуние, а в такую ночь, ведь ты знаешь, что мне было предсказано, должно выпасть на мою долю самое высшее счастье, какое боги дарят смертному.

– И на мою также, – вскричал Гермон, – если ты согласишься разделить со мною твое счастье!

– Значит, я жду тебя на острове Пеликана. Даже когда луна будет стоять над этими высокими тополями, я все еще буду ждать. Ведь ты придешь? И если твоя любовь слабее и холоднее моей, то ты все же не захочешь меня обмануть и таким образом лишит меня счастья всей моей жизни.

– Могу ли я это сделать! – вскричал он, оскорбленный ее недоверием. – Только необычайное или неотвратимое может удержать меня вдали от тебя.

Ее густые брови сердито сдвинулись, и она проговорила хриплым голосом:

– Ничто не должно тебя удержать, даже если бы тебе угрожала сама смерть. До полуночи должен быть ты уже со мной.

– Я приложу к тому все усилия, – уверил он, недовольный ее гневной настойчивостью. – Что может быть и для меня более желанным, как в ночной тишине при свете луны провести с тобой блаженные часы! Я ведь и без того долго не пробуду в Теннисе.

– Ты уезжаешь? – спросила она глухо.

– Дня через три-четыре, – ответил он. – Мертилосо и меня уже ждут в Александрии. Но успокойся... Как ты побледнела! Да, тебя огорчает разлука, но ведь не позже как через шесть недель вернусь я опять. Тогда начнется для нас настоящая жизнь, и Эрот заставит цвести для нас свои чудные розы!

Она молча поникла головой, а затем спросила, глядя ему прямо в глаза:

– И как долго будет продолжаться их цветение?

– Многие месяцы, дорогая, четверть года, а быть может – и полгода...

– А затем?

– Кто же заглядывает так далеко в будущее?

Тогда она, как бы подчиняясь какому-то неотразимому чувству, произнесла:

– Какой безумной я была! Кому известно, что будет завтра? Как знать, быть может, через полгода мы, вместо того чтобы любить, будем ненавидеть друг друга.

Проведя рукой по лбу, как бы желая собрать свои мысли, она продолжала:

– Только настоящее принадлежит человеку, сказал ты недавно. Ну, так будем наслаждаться настоящим так, будто каждая минута последняя. В эту ночь, когда наступит полнолуние, начнется мое счастье – так мне предсказано. Затем диск луны будет уменьшаться, потом придет новое полнолуние, и, когда луна опять пойдет на убыль, тогда, если ты удержишь свое слово и вернешься сюда, тогда пусть меня все осуждают и проклинают, я все же приду в твою мастерскую; чего бы ты ни потребовал, я это исполню. Скажи мне только, какую богиню хочешь ты сделать по моему образу?

– На этот раз это не будет одна из бессмертных, но знаменитая смертная, победившая при состязании в работе даже великую Афину.

– Значит, не богиню? – спросила она разочарованная.

– Нет, дитя, но самую искусную женщину, которая когда-либо работала ткацким челноком.

– А как зовут ее?

– Арахнея.

Она вздрогнула и презрительно вскричала:

– Арахнея!.. Так называете вы, греки, самое противное насекомое – паука.

– Это прозвище той женщины, которая научила человечество благородному ткацкому искусству.

Тут их прервали. Мертилос заглянул в мастерскую и сказал:

– Извините, если помешал, но мы теперь не скоро увидимся. У меня много дел в городе, и меня могут там надолго задержать. Поэтому, прежде чем я уйду, я должен тебе передать поручение, данное мне Дафной. Она желает твоего присутствия на пиру в честь гостей из Пелусия, так велела она тебе передать. Твое отсутствие, слышишь ли ты... Прошу извинения, прекрасная Ледша. Итак, говорю я, твое отсутствие, Гермона, навлечет на тебя ее гнев.

– Так, значит, мне нужно подготовиться к тому, чтобы ее умиловить, – ответил Гермона, бросая многозначительный взгляд на молодую девушку.

Мертилос переступил порог его мастерской и, обращаясь к биамитянке, своим обычным дружеским и веселым тоном сказал:

– Там, где Эроту приносят лучшие дары, там должны друзья цветами усыпать путь жертвоприносителей, а вы, если я не ошибаюсь, избрали как раз эту ночь, чтобы принести ему прекрасную жертву. Поэтому я заранее должен заручиться вашим и богов прощением, прежде чем я выскажу свою просьбу отложить принесение вашей жертвы хотя бы до завтра.

Девушка молча пожала плечами и ничего не отвечала на вопросительный взгляд Гермона. Мертилос, переменяя тон, серьезно напомнил Гермону, что, если он не явится на пир, он этим нанесет оскорбление праху его родителей, лучшими друзьями которых были Филипп

пос и Тиона. Высказав это, он с легким приветствием, обращенным к Ледше, удалился из мастерской.

Биамитянка, направляясь также к выходу, холодно произнесла, гордо вскинув голову:

– Я вижу, тебя очень затрудняет твой выбор. Ну, так вспомни еще раз, какое значение имеет для меня нынешняя ночь. Если же ты, несмотря на это, решился выбрать пир с твоими гостями, я, конечно, не могу тебе препятствовать, но я хочу уже теперь знать, должна ли эта ночь принадлежать мне или же дочери Архиаса.

Он вскричал запальчиво:

– Неужели с тобой нельзя говорить как с разумным существом? У тебя все только крайности; короткая необходимая отсрочка тебе кажется уже изменой!

– Так, значит, ты не придешь? – спросила она, берясь за ручку двери.

Наполовину прося, наполовину приказывая, он сказал:

– Ты не должна так уходить. Если ты настаиваешь на своем, я приду, конечно. Дружеская уступчивость незнакома твоей упрямой душе. Я не могу похвалиться, что ее и во мне много, но бывают же обязанности...

Тут она открыла дверь. Он, весь охваченный страхом потерять ее, несравненную и незаменимую натурщицу для Арахнеи, быстро подошел к ней, схватил ее за руки и, стараясь ее увести от выхода, произнес:

– Я тебя умоляю, откажись от твоего упорства. Как ни трудно мне это именно сегодня, я все же приду, ты только не должна требовать от меня невозможного. Половина моей ночи будет принадлежать пиру с друзьями и Дафной, а вторую...

– ...отдашь ты мне, варварке и пауку, – закончила она презрительно. – Мое счастье, а также и твое зависит от твоего решения. Остаться здесь или прийти на остров Пеликана в твоей власти – реши как хочешь.

С этими словами она вырвала свою руку и исчезла из мастерской. С тихим проклятием пожимая плечами, остался Гермон один посреди мастерской. Он чувствовал, что ему ничего больше не оставалось, как повиноваться желаниям этого странного и упрямого создания.

В атриуме встретила Ледша Биаса. Молча ответила она на его приветствие, но, подойдя к двери, остановилась и спросила его на биамитском наречии:

– Была ли Арахнея – я подразумеваю не паука, а ткачиху, которую так называют греки, – такая же женщина, как и другие? Ведь это она в состязании с Афиной осталась победительницей?

– Совершенно верно, – отвечал невольник, – но она жестоко поплатилась за свою победу: богиня ударила ее ткацким челноком, и, когда Арахнея от стыда и горя хотела повеситься, она, в наказание, превратила ее в паука.

Закрывая свое побледневшее лицо покрывалом, Ледша произнесла дрожащими губами:

– Разве нет другой Арахнеи?

– Среди людей нет, – прозвучал ответ, – а противных насекомых с тем же именем и в этом доме слишком много.

Молча спустилась Ледша по ступеням, ведущим на площадь, и Биас заметил, как она оступилась на последней и, наверно, упала бы, не удайся ей сохранить равновесие.

«Какое дурное предзнаменование, – подумал невольник. – Будь в моей власти воздвигнуть между моим господином и этим пауком стену, я бы выстроил ее выше маяка Сострата¹⁰. Кто обращает внимание на предзнаменования, тот знает, что его ждет в жизни. И теперь я знаю то, что я знаю, и держу мои глаза открытыми ради моего господина».

¹⁰ *Сострат* – архитектор, построивший в 299–279 гг. до н. э. Фаросский маяк высотой 110 м.

IX

Гермон хотел было сделать несколько легких поправок в своей статуе, но ему это так и не удалось. Ледша, ее требования и то гневное настроение, в котором она его покинула, — все это не выходило у него из головы. Если он не желает ее потерять, он должен во что бы то ни стало прийти на свидание; он чувствовал также, что поступил очень неосторожно, предложив ей разделить ночь между ней и Дафной. Во всяком случае, это предложение заключало в себе что-то оскорбительное для этого гордого создания. Он должен был дать ей обещание приехать на остров Пеликана, а для этого пораньше и незаметно покинуть пир. Для его позднего приезда легко можно было найти извинение, и у Ледши не было бы причин сердиться. Теперь же она сердилась, и ее гнев возбуждал в нем, обыкновенно таком храбром и мужественном, странное чувство, почти граничившее со страхом. Недовольный самим собой, задал он себе вопрос, любит ли он биамитянку, и не мог прямо на него ответить. Он знал уже с первой их встречи, что она, не говоря уже о несравненной красоте, была и во всем остальном выше ее соотечественниц.

Ему казались особенно привлекательными в этом молодом существе ее недоступность и суровость. Он был готов принести какую угодно жертву для того, чтобы одержать победу над этим стройным, удивительно гибким созданием и покорить ее упорство, гордое самомнение. А с тех пор как он в ней увидел подходящую, никем не заменимую натурщицу для своей Арахнеи, он твердо решил подвергнуться и той опасности, которую почти неизбежно представляла для него, грека, любовная связь с биамитянкой из свободного уважаемого дома. Она полюбила его быстрее, чем он этого ожидал, но, несмотря на довольно частые свидания, он ничем не мог победить ее строгой недоступности, и большая часть этих свиданий проходила в том, что он пускал в ход все свое красноречие, чтобы успокаивать ее и испрашивать прощения за свои неосторожные выходки, которыми он, казалось, только пугал и отталкивал ее. Иногда ею овладевала какая-то страстная нежность, но сейчас же ей на смену являлись едкие упреки, требования и обвинения, подсказанные ей ревностью, недоверием и оскорбленной гордостью. Но ее красота, ее стойкое сопротивление его желаниям действовали на него так завлекательно, что заставили его сделать много уступок, произнести много клятв и обетов, которых он не мог, да и не желал сдерживать.

Обыкновенно любовь была для него источником радости и веселья, а эта связь доставила ему только заботы и неприятности, и теперь, когда он был почти у цели, он должен был опасаться, не превратил ли он любовь Ледши своими необдуманными поступками вчера и сегодня в ненависть. Дафна была ему очень дорога; он глубоко уважал и ценил ее, был ей многим обязан, но теперь он почти готов был проклинать ее приезд в Теннис. Не будь ее, он мог бы исполнить требование Ледши и уехать в Александрию, вполне уверенный в ее согласии служить ему натурщицей для Арахнеи по его возвращении. Нигде и никогда не найдет он никого более подходящего! Он был страстно предан своему искусству, и даже его противники причисляли его к «избранным». А между тем ему еще ни разу не выпал на долю большой, неоспоримый успех. Зато он отлично знал, что такое неудача. Храм искусства, право входа в который досталось ему ценой такой жестокой борьбы, оказался негостеприимным по отношению к своему высокодаровитому адепту. Но все-таки, несмотря на все, он и теперь не согласился бы ни за какие блага в мире отказаться от искусства; радость творчества вознаграждала его вполне за все разочарования и горести. Надежда на собственные силы, на торжество его направления и его убеждений покидала его лишь на короткие мгновения. Он был рожден для борьбы; что значили для него неудачи, враждебность, нужда! Он был уверен, что наступит наконец тот день, когда для него и для его произведений зазеленеют лавры, которые давно уже венчали чело Мертилоса.

Его Арахнея, в этом он был уверен, заставит даже самых ярых противников присудить ему награду, которой он до сих пор напрасно добивался. Расхаживая в волнении взад и вперед по своей мастерской, он минутами останавливался перед своим произведением, осматривая его невольно, и ему представилась в памяти Деметра его друга: она так же походила чертами лица на Дафну, так же держала в руках сноп колосьев и даже позой походила на его статую. И все же, вечные боги, как различны были они обе! У Мертилоса какое-то сверхчеловеческое благородство и достоинство соединялись с обаятельной женской прелестью, а у него интересная голова, а тело... Сколько натурщиц сменил он, не достигая ничего, только удовлетворяя свое стремление отойти как можно дальше от общепринятой условности! И все же разве ему не пришлось здесь следовать некоторым устарелым правилам: одна рука была приподнята, другая опущена, правая нога выступала вперед, а левая назад. Совершенно так, как у Мертилоса и у тысячи подобных же статуй Деметры. Если бы ему позволили работать молотом и резцом, а то это проклятое золото и слоновая кость, на которых Архиас так упорно настаивал: чего только ни надо было принять во внимание при их обработке! Эта мелкая резьба, это выглаживание напильником были противны его стремлению творить только сильное и мощное. Битва была на этот раз проиграна наверняка. Счастье, что Мертилос, а не кто-то другой выйдет победителем. Сколько бы он ни делал в своей молодой жизни ошибок и какие бы ни были его недостатки, никогда ни малейшая тень зависти к успехам друга не омрачала его души. То, что судьба наградила Мертилоса, помимо ума и душевных качеств, еще и большим богатством, ему, лишенному поддержки дяди и часто нуждающемуся, порой казалось несправедливостью богов. Но он не завидовал богатству Мертилоса, напротив, душевно радовался за него: ведь как мог бы бороться его друг с роковой болезнью, унаследованной от родителей, не получи он также их богатства? О, эта ужасная болезнь! Вряд ли бы чувствовал он большее свою собственную. И он радовался победе этого бедного доброго товарища и знал, что, удайся ему, Гермону, Арахнея, его успех обрадовал бы Мертилоса, в этом готов он был поклясться, несравненно больше, нежели собственный успех Мертилоса. Все эти мысли напомнили ему опять второй заказ и Ледшу. Он подошел к окну, чтобы посмотреть на остров Пеликана, где она не должна была, это он твердо решил, его напрасно ожидать. Челнок, который его туда повезет, стоял в небольшой бухте, туда же приставал теперь богато разукрашенный корабль, привезший, вероятно, гостей из Пелусия. Будет лучше всего, если он отправится сейчас же их приветствовать, разделит с ними трапезу и, оставив их сидеть за вином и сладостями, отправится к прекрасной биамитянке, которая иначе превратится в его врага. И действительно, ее гнев будет вполне справедливым, если он, благодаря своему невниманию, не даст исполниться тому, что было ей предсказано. Первый раз примешалась жалость к его чувству к Ледше. Если он скромную биамитянку, страстно его любившую, обманет для того, чтобы избежать легкого порицания знатных друзей, то это никак не будет доказательством его душевной силы, а, напротив, покажет только его ничтожную, достойную наказания слабость. Нет, нет, уже ради того, чтобы не заставить страдать Ледшу, предпримет он свою ночную поездку. Он стал готовиться к пиру. Выбирая роскошное праздничное платье, он подумал, что самолюбие Ледши будет также польщено, когда он в нем явится перед ней. Одетый, с гордо поднятой головой пошел он к выходу, чтобы направиться в палатку Дафны. Но что это? Перед его Деметрой стоял Мертилос и глазами художника и ценителя осматривал ее. Его прихода не заметил Гермон, и теперь не стал он мешать ему, а принялся напряженно следить за выражением подвижного и выразительного лица друга. Мнением Мертилоса, этого любимца муз, дорожил он больше всего. Неодобрительное покачивание головой приятеля заставило его крепко стиснуть зубы, но вскоре вздох облегчения вырвался из его груди: он увидел, с какой радостной улыбкой рассматривает Мертилос черты богини, и только тогда решился он подойти. Тот обернулся и радостно сказал:

– Дафна!.. Тебе и тут как нельзя лучше удалось передать ее милое лицо, но...

– Но... – повторил протяжно Гермон. – Это словечко мне хорошо знакомо. Оно открывает двери целому ряду сомнений... Ну, что же, высказывай их честно и прямо. Последняя надежда на награду покинула меня вчера перед твоей Деметрой, а мой сегодняшний строгий осмотр собственного произведения отравил мне всякую радость и охоту к работе. Если же тебе нравится голова, то скажи, какие ошибки находишь ты в остальном?

– Но то, что я хочу сказать, – отвечал Мертилос, причем яркий румянец покрыл его щеки, – не касается каких бы то ни было ошибок, которых, впрочем, при твоём редком знании и таланте нельзя отыскать в твоей работе. Это касается выражения, которое ты придал богине.

Тут он остановился на минуту и, глядя ему прямо в глаза, продолжал:

– Искал ли ты когда-либо божество, и если ты его нашел, чувствовал ли ты и постигал ли ты всю его божественную силу и красоту?

– Какой вопрос! – воскликнул удивленный Гермон. – Я ученик Стратона и буду искать существа и силы, бытие которых он отрицает! Те верования, которые когда-то мне внушала мать, я сбросил вместе с детскими башмаками, и ты задаешь свой вопрос художнику, сложившемуся человеку, а не мальчику. Все то, что живет и создано, уже давно для меня не имеет ничего общего с теми человекоподобными созданиями, которые толпа зовет богами.

– Я об этом думаю совсем иначе, – ответил Мертилос. – Причисляя себя к эпикурейцам, учение которых до сих пор сохранило для меня большую прелесть, я одно время все же разделял мнение моего знаменитого учителя, что мы обижаем богов, приписывая им какие-то мелочные заботы о нас, ничтожных смертных. Верить этому вполне препятствует мне мой рассудок, и я верю теперь вместе с Эпикуром и тобой, что вечные и непреложные законы природы не подчиняются ничьей власти.

– И все же, – заметил Гермон, – ты предлагаешь мне заботиться о богах, таких же безвластных, как я сам.

– Я бы очень желал, чтобы ты это делал, – ответил Мертилос, – потому что боги кажутся не бессильными тому, кто заранее знает, что они не могут ничего сделать, чтобы предотвратить или поколебать эти непреложные законы. Вся страна ими управляется, и мудрый фараон, который не решится нарушить малейший из них, все же может управлять нами силой своего скипетра. Вот почему и я могу надеяться на помощь богов, но не будем об этом говорить. Здоровый человек, сильный, вроде тебя, никогда рано не познает, чем могут быть боги в дни болезни и горя; но там, где большинство верит в них, он не может не составить себе о них какого-либо представления; даже тебе самому, я ведь это знаю, они представляются в твоём воображении в различном виде. Да, они в окружающем нас мире и в нашей душевной и сердечной жизни. Эпикур, отрицавший их власть, все же признавал в них бессмертных существ, которые обладают в полном совершенстве всем тем, что в человеке, благодаря его недостаткам, слабостям и горестям, исковеркано и запятнано. Он находит, что они – наше отражение, возведенное в совершенную степень. Мы, по моему мнению, не можем сделать ничего лучшего, как цепко держаться за это объяснение, потому что оно нам показывает, какой высоты мы можем достичь в красоте и силе, в уме, доброте и чистоте. Вполне отрицать существование богов, даже и для тебя, невозможно, потому что представление о них нашло уже себе место в твоём воображении. Раз это так, то тебе может быть только полезно, если ты в них признаешь прекрасные образы, походившие на которые и изображать которые для нас, художников, является задачей, более высокой, достойной и красивой, нежели передавать действительность, постигаемую только нашим разумом и встречаемую под солнцем на земле.

– Вот это-то высокое и красивое, но нереальное не нравится мне и тем, кто разделяет мои стремления в искусстве. Нас вполне удовлетворяет природа: что-либо отнять у нее – значит для нас ее искалечить, прибавить что-либо – значит исказить.

– Отчего же не делать этого только в пределах законов природы? По-моему, одна из главных задач искусства, как бы ты и твои единомышленники ни восставали против этого, состоит в том, чтобы уяснять, украшать и очищать природу. Ты должен был это иметь в виду, когда взялся изобразить Деметру, потому что она богиня, а не однородное с тобой существо. Но именно того, что превращает смертную женщину в бессмертную и божественную, этого придатка, как я его назову, ищу я напрасно в твоей статуе и глубоко сожалею об этом, тем более что ты смотришь на него как на что-то не заслуживающее внимания.

– И я буду так смотреть на этот придаток до тех пор, пока он будет той колеблющейся небылицей, которую воображение каждого передает по-своему.

– Если это есть небылица, то, во всяком случае, очень возвышающая нас, и кто из нас воспринимает глазами, сердцем и душой природу, тот найдет достойным придать и этой небылице образ и формы.

– Поверь мне, ты и я, мы были бы довольны моей Деметрой, удайся мне вполне передать ее в живом, правдивом образе. Ведь ты сам знаешь, что обыкновенно это мне лучше всего удается. Но на этот раз, я прямо сознаюсь, я потерпел поражение. В моем воображении представлялась мне Деметра доброй, милостивой подательницей разных благ, верной, любящей женой, мирно заботящейся о всех. Голова Дафны, изображенная мной, хорошо передает это, но тело... тут я совершенно сбился. Тогда как в мальчике с винными ягодами все, от головы до пят, всякий клочок его отрепьев, присущи уличным мальчишкам; в теле моей богини все является случайностью, тем, что дали мне натурщицы, а ты знаешь, сколько я их сменил! Будь моя Деметра с головы до ног Дафною, нет сомнения, что я дал бы полное гармоничное изображение, и ты, пожалуй, первый признал бы это.

– Нет, – перебил его живо Мертинос, – нам самим известно, что такое наши богини – золото и слоновая кость. Но для толпы в наших статуях должно заключаться большее. Когда она, эта толпа, молясь сердцем и душой, подымает к ним взоры, она должна найти в них ту идею божества, которая нас одухотворяла во время нашего творчества и которой мы, так сказать, пропитали наше произведение. Если же она найдет в них только образ, хотя бы и украшенный всеми качествами обыкновенной женщины...

– Тогда, – перебил его Гермон, – молящийся должен быть благодарен скульптору. Разве не полезнее смотреть на образ, воплощающий человеческие добродетели, нежели на какое-то жалкое вымышленное произведение из золота и слоновой кости. Поэтому я не признаю за порицание то, что ты видишь в моей Деметре простую смертную, а не богиню; это меня отчасти примиряет с ее недостатками, на которые я, во всяком случае, не закрываю глаз. И мною, сознаюсь я, очень часто овладевает желание дать волю моему воображению, но я знаю лучше, чем кто бы то ни было, что такое боги, веру в которых я утратил; ведь я также был ребенком, и, я думаю, мало кто так горячо им молился, как я. Вместе с возрастающей жаждой свободы появилось у меня сознание, что нет богов и что кто подчиняется воле бессмертных, тот становится рабом. То, что я изгнал из своей жизни, удаляю я и из искусства. Я не изображаю ничего такого, чего бы я не мог сегодня или завтра встретить в жизни...

– Тогда, как честный человек, перестань изображать богов, – перебил его приятель.

– Ты ведь знаешь хорошо, что таково мое намерение с давних пор, – ответил Гермон.

Мертинос в волнении произнес:

– Этим ты обворуешь самого себя. Я ведь тебя знаю; быть может, я в тебя глубже заглянул, нежели ты сам это делаешь. Искусственные оковы наложил ты на твое пылкое и сильное воображение, заставляя его довольствоваться узкими рамками действительности. Но придет время, когда ты разорвешь эти цепи и когда найдешь то божество, которое утратил, и твоя,

ставшая вновь свободной, громадная творческая сила поставит тебя выше многих, выше меня... если я до того времени доживу.

Говоря это, он, сотрясаемый кашлем, схватился за больную грудь и медленно направился к скамье. Гермон помог ему на ней растянуться и с нежной заботливостью подложил ему под голову подушку.

– Это ничего, – сказал Мертилос, пролежав молча несколько минут. – Сегодняшний день был слишком утомителен для моих слабых сил. Жители Олимпа знают, как спокойно я ожидаю смерти. Тогда наступит всему конец, ничего не останется от меня, кроме пепла, после того как сожгут мое тело. Я уже позаботился о моем наследстве: сегодня я был у нотариуса, и шестнадцать свидетелей, ни более ни менее, согласно обычаям этой страны, подписали мое завещание. Теперь иди, пожалуйста, оставь меня на время одного. Поклонись от меня Дафне и пелусийцам. Через час и я буду с вами.

X

«Когда луна будет стоять над островом Пеликана...»

Как часто повторяла Ледша про себя эти слова, пока Гермона удерживали в палатке Дафны гости. С наступлением ночи, входя в лодку, проговорила она опять тоном радостной надежды: «Когда луна взойдет над островом Пеликана, тогда и он приедет». Ее лодка быстро достигла цели своего назначения. Место, выбранное для свидания, было ей хорошо знакомо. Морские пираты вот уже целых два года как не посещали этот остров. Прежде бывали они на нем часто и хранили там оружие и добычу. Густой и высокий папирус, росший у берегов, скрывал их лодки от соглядатаев, и недалеко от того места, куда пристала Ледша, стояла дерновая скамья, выглядевшая как обыкновенная, предназначенная для отдыха скамья, но под которой в действительности скрывался подземный ход, куда преследуемые стражами пираты внезапно скрывались, точно их поглотила земля. «Когда луна будет над островом», – повторила про себя Ледша, прождав более часа.

Это время еще не наступило; только по бледному освещению у берегов знала Ледша, что луна взошла. Когда ее полный диск поднимется над островом, тогда приедет он и начнется то великое блаженство и счастье, которые ей предсказывали. Счастье, блаженство... Горькая усмешка появилась на ее губах в то время, когда она повторяла эти слова. Пока она не испытывала ничего подобного. С одной стороны, если любовь и сладостное ожидание шевелились в ее душе, то, с другой стороны, ей казалось, что ее опутывает целая сеть паутины какого-то противного паука, и мрак, опасения, неприятное воспоминание, а также и ненависть бросали мрачную тень на ее радостное ожидание. Все же она страстно желала видеть Гермона. Стоило ему приехать, и все будет хорошо. Предсказания старой Табус, повелевающей столькими демонами, не могли быть лживыми. После того как Ледша, горя гневом и ревностью, напомнила своему возлюбленному, какое значение имела для нее эта ночь полнолуния, она могла смело и уверенно рассчитывать на его приезд.

Было много важных причин, удерживающих его в Теннисе, она сама с этим соглашалась теперь, когда пришла в спокойное состояние, и все же он обещал и приедет... ну а она уж покорится необходимости поделить эту ночь с гречанкой. Все ее существо стремилось к счастью, и никто не мог ей его дать, как только тот, чьи губы прикоснутся к ее устам, когда луна взойдет над островом Пеликана. Как медленно поднималась Астарт, богиня с головой коровы, рога которой поддерживали диск луны! Как медленно тянулось время! И все же луна подвигалась, а вместе с ней приближался приезд страстно ожидаемого Гермона. Она не хотела думать о том, что он, быть может, не приедет, но, когда временами являлась эта непрошенная мысль, волны горячей крови заливали ее лицо от стыда, как будто ей кто-то нанес страшное оскорбление. Нет, он должен приехать! Она то ложилась на скамью и смотрела на серую поверхность воды, то ходила взад и вперед, останавливаясь при каждом повороте, смотрела на Теннис и на яркие факелы, горящие перед палаткой александрийки. Минуты следовали за минутами. Поднялся легкий ветерок, мало-помалу осветились верхушки тополей, а затем и всю зелень вокруг нее залил серебристый свет. Вода перестала быть неподвижной, по ее поверхности зарябили небольшие волны, на их гребнях сверкал и переливался свет луны. Берега всех островов были залиты этим светом, и вдруг на спокойной поверхности воды отразился ярко сияющий лунный диск. Прошло то время, когда она могла говорить: «Как только луна встанет над островом, он будет здесь». Луна, поднявшись над островом теперь, продолжала свой путь, и следившие за нею глаза Ледши дали ей понять, что она ошибается: время, назначенное ей Гермонам, прошло, а его не было. Величаво, спокойно продолжала луна свой путь все дальше и дальше, и минуты уходили за минутами. Сколько времени прошло с тех пор, как луна стояла над островом? – вот был вопрос,

который теперь постоянно срывался с ее губ. Ответ на него могли дать звезды, по положению которых она научилась узнавать время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.